



**Дружба
народов**

11/2020



В номере:

По традиции ноябрьский номер — «Дружба на вырост».

«Только детские книги читать...»

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам вспомнить КНИГУ их детства. Теперь в нашей копилке уже больше сотни историй: о границах между вымыслом и реальностью, о мираже и соблазне, о «кроличьих норах» сказочного пространства, о плотности слов, падающих на книжную страницу, о детском взгляде на взрослый мир и во взрослом отношении к детству...

Возвращение к себе

«Одиннадцатилетнему Мишке Соловьеву начавшаяся война была по душе. На улицах города стало шумно, весело и бестолково. Страшное — а оно нарастало вместе с праздничным — еще не осознавалось Мишкой вполне. Впрочем, так можно было сказать не только о детях. Многие взрослые как бы колебались между ощущениями ужаса и праздника в те дни...»

Москва и москвичи — эта известная формула точно описывает линии напряжения и связи в романе Бориса МИНАЕВА «Площадь Борьбы», в центре которого — образ военной Москвы, судьбы ее взрослых и юных жителей, переплетение личной истории с историей России XX века.

Обнуленное пространство

«Грядущее закуплено в кредит,/ будильник заведён, как автомат, —/ мы научились в космос выходить,/ но разучились сказки понимать...»
Лирике будней и быта Ганны ШЕВЧЕНКО, которая внимательно вслушивается, как, «приукрасив себя незабудками, моментальное время течёт», созвучны стихии дебютанта «ДН» Александра ФРАНЦЕВА. В дебютной поэтической подборке Карена ТАРАЯНА — размышления о чуде бытия, о небесном Иерусалиме, где «бог достаёт из большой корзины души как спелые апельсины». О «знаках звука» пишет Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ, а Александр АМЧИСЛАВСКИЙ — о любви, от которой все мы «светлеем лицом».

Есенин 125+

«"Сергей Есенин" — неизменный ответ отечественного коллективного бессознательного на запрос "русский поэт"...» — «Всенародная любовь к Есенину столь же обширна, сколь и поверхностна...» — «Запредельно популярен в интернете...» В «юбилейном» заочном «круглом столе» принимают участие поэты Иван ВОЛОСЮК, Надя ДЕЛАЛАНД, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Константин КОМАРОВ, Марина КУДИМОВА, Анна МАРКИНА, Роман РУБАНОВ.

Задание на дом

«В условиях "повышенной готовности" многие учреждения вывесили таблички: "Работаем только навынос". На школах я подобных объявлений не встречал. Но суть от этого не меняется. Продукт, который раньше был предназначен для совместного употребления в школьных стенах, теперь предлагают с доставкой на дом». Директор Инновационного центра «Технологии современного образования» Дмитрий РУБАШКИН размышляет о плюсах и минусах дистанционного обучения.

Лицом к жизни

Российская сельская школа, ее проблемы и перспективы развития — сквозная тема интервью академика РАО, доктора педагогических наук, писателя Анатолия ЦИРУЛЬНИКОВА.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

11'2020

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2020.
Подписано в печать 28.10.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 5731. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

«Только детские книги читать...» Заочный «круглый стол»	3
---	---

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ганна ШЕВЧЕНКО. Осень — колотая рана. Стихи	35
Борис МИНАЕВ. Площадь Борьбы. Роман	39
Карен ТАРАЯН. Кочегары страны Аид. Стихи	106
Алексей САЛЬНИКОВ. Буллинг животворящий. Рассказ	108
Владимир ШПАКОВ. Люда. Рассказ	113
Ирина БОГАТЫРЁВА. Дядьмороз. Рассказ	134
Ольга СУЛЬЧИНСКАЯ. Знаки звука. Стихи	142
Валерия КРУТОВА. Дазайн. Рассказы	145
Борис ВЕТРОВ. «Чайка» для Лазаря. Рассказ	160
Алан ЦХУРБАЕВ. Бледные пятна. Рассказ	169
Александр ФРАНЦЕВ. Над равнодушной державой. Стихи	180
Наталья ЯВЛЮХИНА. Точка невозврата. Рассказы	183
Сергей МУРАТОВ. Два рассказа	197
Ирина КОСТАРЕВА. Волосы. Рассказ	206
Александр АМЧИСЛАВСКИЙ. Мы жили там. Стихи	215

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ЕСЕНИН 125+

«Песни, песни, о чём вы кричите?...» Сергей Есенин в эпоху новой политкорректности, аватарок и эмодзи. В обсуждении принимают участие: Иван ВОЛОСЮК, Надя ДЕЛАЛАНД, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Константин КОМАРОВ, Марина КУДИМОВА, Анна МАРКИНА, Роман РУБАНОВ	218
---	-----

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

Дмитрий РУБАШКИН. Школа — второй дом. Дом — вторая школа	228
Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Образование на краю Ойкумены. Беседу ведет Антон Зверев	233

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ

Владимир СМИРНОВ. Воспитание будущего	241
---	-----

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«В тех местах тогда не было Бога...» О романе Леонида Тишкова «Взгляни на дом свой» размышляют Ольга БУГОСЛАВСКАЯ и Наталья ИГРУНОВА	255
--	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Сны месяца тишрея (Керен Климовски. «Время говорить»)	265
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Театр Саши	269
--------------------------------	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Леонид ТИШКОВ. «Взгляни на дом свой»	
--------------------------------------	--

«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:

*Акрам АЙЛИСЛИ, Евгений АЛЁХИН, Дмитрий АРТИС,
Полина БАРСКОВА, Ирина БОГАТЫРЁВА, Александр БУШКОВСКИЙ,
Алексей ВАРЛАМОВ, Андрей ГЕЛАСИМОВ, Юлий ГУГОЛЕВ,
Максим ГУРЕЕВ, Ксения ДРАГУНСКАЯ, Олег ЕРМАКОВ,
Дмитрий ЗАХАРОВ, Александр ИЛИЧЕВСКИЙ, Михаил КУРАЕВ,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Ольга ПОГОДИНА-КУЗМИНА,
Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, Ольга СЛАВНИКОВА*

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам — писателям из «ближнего» и «дальнего» зарубежья вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки.

В этом номере — новые авторы и новые книги.

Теперь в нашей копилке уже больше сотни историй.

*Акрам Айлисли, прозаик, сценарист, переводчик
(г.Баку, Республика Азербайджан)*

«Все прочитанное мной в книгах я воочию увидел когда-то в Айлисе»

В детстве я читал только на азербайджанском по самой простой причине: знал я только азербайджанский язык, ведь я рос в деревне. Помню героический эпос «Кероглу» и книгу Сулеймана Сани Ахундова «Страшные сказки». Сказки я полюбил, вероятно, потому, что в них было то, чего не было в жизни. Их рассказывала всегда на ночь моя мама. (Отец погиб на фронте, когда мне не было и пяти лет.) Только позже я понял, почему она их так часто рассказывала. Видимо, хотела отвлечь меня, голодного, от постоянного желания есть. Даже и после войны, до самой середины 50-х, основная масса людей нуждалась в хлебе.

И вообще, не сказка ли вся художественная литература? Разве не сказки «Мастер и Маргарита», «Мёртвые души», «Дон Кихот», «Гроздь гнева»?.. Могу удивить вас еще больше: до сих пор я почти уверен, что все прочитанное и читаемое мной в книгах я воочию увидел когда-то в Айлисе — и вот вам еще одна страшная сказка!

А эпос? В эпосе есть простое, очень понятное и чувственное противостояние добра и зла. Борьба за справедливость, которую легко воспринимает детская душа.

В раннем юношестве поразил меня А.М.Горький своими рассказами и трилогией «Детство», «В людях», «Мои университеты». Ранний Горький, по-моему, очень хороший сказочник. Скучная безрадостная жизнь — и маленький человек, мечтающий выбраться на свет Божий. А я был и навсегда остался в душе этим маленьким человеком. Вот что связывает меня с ранним Горьким.

Два года я учился в Баку. А потом — Литинститут, который очень быстро преобразил меня. У меня был отдельный учитель по русскому языку: очень простой и добрый старичок. Помню, как по-детски весело радовался он моим успехам. В студенческие годы я увлеченно читал Генриха Бёлля. Затем перевел на азербайджанский язык его повесть «Хлеб ранних лет». Выпущенная большим тиражом, она разошлась мгновенно.

На сегодняшний день мои самые любимые писатели Джон Стейнбек и Иван Бунин.

А любимой книгой моего старшего сына Ильясa была «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. Младшего, Наджафа — «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова.

У внучек свои предпочтения: старшая, Айлин, больше всего любит «Зверинец Джемрака» Кэрол Берч, а младшая, Сезен — «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.

Евгений Алёхин, прозаик, музыкант, издатель (г. Санкт-Петербург)

Первая книга

Моя любимая книга из детства «Сказка с подробностями» Григория Остера. Ее перечитывал два года назад, и магии не стало меньше. Получил такое же удовольствие.

Я долго не мог научиться читать по-русски, потому что не понимал, зачем это мне. Немного читал по-английски, потому что в мои шесть лет сводный брат обучил меня программированию. Потом пошел в школу и освоил родную азбуку, когда появился соревновательный инстинкт. Но там нужно было просто быстро оттараторить и получить оценку. В первом классе случайно так стал читать быстрее всех, а потом, когда научился внятно пересказать прочитанное, стал получать оценки ни за что. Но само чтение не увлекало. Помню: откроешь книгу якобы для твоего возраста — и сразу чувство, что с тобой сюсюкаются. Почти все книги, что мне давали взрослые, были скучные или лицемерные, как улыбка взрослого, вызванная тем, что я блондинчик. Они думают, что улыбаются искренне, — но ты, ребенок, видишь оскал сатаниста. Все же я очень любил, когда отец читал мне вслух — греческие мифы, например. Сложно было читать самому, но он делал их понятными. Конечно, отец их купировал, не рассказывал мне про сексуальные связи богов с людьми, животными, предметами... Мать же читала мне Библию, и это было страшно. Я плакал и думал, что я и есть Каин. От этого не оправился до конца до сих пор, библейские сюжеты часто путаются с воспоминаниями о собственной жизни, и это страшная путаница. Когда мать развелась с отцом, она меня крестила и научила крепко бояться бога. Чтение отца приносило кайф и успокаивало. Помню «Денискины рассказы», у меня даже были любимые тексты в этой книге, озвученной отцовским баритоном (почти басом). Но даже в них

был какой-то кукиш, подвох, неправда. Гнильца, что ли, в общем, что-то с ними было не так. Тайное не становится явным, иначе бы я умер в семь лет, когда бы мои мама и сестра узнали, что я подглядывал за ними в душе. Автор явно морализаторствовал, я не хотел этого от книги, этого хватало от тупых взрослых. Чему пытался обучить меня В.Драгунский? Есть манную кашу через силу? Нет, спасибо, но я после его рассказа понял, как действовать. Родителю надоест смотреть за тобой, и он выйдет в комнату, а тебе надо взять тарелку с ненавистной едой, тихонько пройти в туалет, скинуть еду в унитаз, но не смывать. Нужно поставить тарелку в раковину или помыть самому, а потом сделать вид, что идешь в туалет, там уже и смыть ненавистный борщ с мясом, которое не нужно организму. Помню, как плевался от «Золотых слов» Зощенко, — нет, взрослые это не взрослые, а дети это не дети. Но в «Сказке с подробностями» ничего такого не было, этот человек (автор) понимал, что дети не идиоты, он уважал нас. Я засыпал и просыпался с этой книгой, прочитал ее раз пятнадцать. Автор рассказал мне, что важна не столько сама формальная часть истории, сколько ее уникальные подробности. Лошадки стали для меня семьей, директор карусели стал старшим братом. Спасибо вам, Григорий, надеюсь, Вы здоровы и до сих пор пишете. Думаю, что я прочитаю эту книгу своим детям: дочери России и сыну Антимиру. Может быть, даже запишу для них в аудиоформате. Подробности живут лучше основной линии, развиваются по своим законам. Мир — в этих полуслучайных подробностях. Для меня до сих пор так.

Дмитрий Артис, поэт (г.Москва)

ФИЛИППОК

В нашем городке открыли первую школу с углубленным изучением английского языка. «Английская школа» — так во дворе называли ее. Набор с шести лет, а со второго класса — с семи лет — начинали учить языку. В далеком 1979 году простые советские дети, а так же их родители, о таком даже не мечтали. Это было что-то из разряда фантастики, будто кто-то щелкнул пальцами или взмахнул волшебной палочкой и в одно мгновение наш городок оказался в будущем.

Мне как раз исполнилось шесть лет, я уже неплохо читал, писал и считал, поэтому в один из летних понедельников мама нарядила меня в одежды послушного сына (белая рубашка, темные шортики, гольфы, сандалики, не помню, была ли бабочка, туго обхватывающая горло, но пусть будет — для полной картинки), в общем, нарядила и повела в школу на так называемое «прослушивание», по результатам которого принималось решение о зачислении в новую модную школу.

Путь неблизкий. Мы жили в центре старого города, отстроенного сразу после войны (кирпичные пятиэтажные дома, квартиры с высокими потолками и деревянными полами), а школа находилась в новом районе, где с начала семидесятых уже царствовали высокие панельки, поддерживающие небо (низкие потолки и бетонные полы, которые застилались вечно вздыбливающимся линолеумом).

Чтобы добраться до школы, нам нужно было сесть на автобус у центральной площади с фонтаном и проехать с десятков остановок. Пока ехали, мама продолжала готовить меня к прослушиванию, в который раз задавая одни и те же вопросы:

- Как тебя зовут? — имитируя строгий голос учительницы, спрашивала она.
- Дима...
- Отвечай «Дмитрий»!

- Дмитрий.
- А как зовут маму?
- Света... Светлана!
- А где ты живешь?
- Улица Те... ле... теле... телес...
- Ну, Дима! Ты же знаешь!

От волнения забыл, как произносятся буквы «р» и «ш». Покраснел, на глазах набухли слезы. Задрожали губы, подбородок. Вот-вот разревусь.

- Назови адрес! Адрес!

Я посмотрел на маму, и она представилась мне огромным стражником башни из фильма-сказки «Королевство кривых зеркал». Этот стражник у любого, кто подходил к воротам, громовым голосом требовал показать ключ:

- Ключ?! — требовал стражник.
- Адрес?! — требовала мама.

Потом я представил маму в образе фанатичного поклонника Миледи из фильма про трех мушкетеров, который просил назвать имя:

— Назовите его имя, Миледи! Имя! — требовал он, округляя до пятикопеечной монеты глаза.

- Адрес! — требовала мама.
- Улица Телесковой, дом сетыле, — наконец-то произнес я.
- Не Телесковой, а Терешковой! Улица Терешковой, дом четыре.
- Телесковой-сетыле, — повторил и разрыдался.

Мама посмотрела на меня, покачала головой и дальше мы всю дорогу ехали молча. В автобусе только и были слышны мои протяжные детские всхлипы.

Когда подошли к школе, я уже успокоился и почти забыл о своей первой неудаче. Светило ласковое подмосковное солнце. Август. Не жарко, а вот именно — тепло. Птицы, редкие машины, аккуратные люди, памятник академику Королеву, зелень, цветы на клумбах, школа... Первая английская школа в нашем городе, и я там буду учиться! Посмотрел на небо, потом на маму и громко сказал:

- Улица Терешковой, дом четыре, квартира двадцать девять!
- Молодец, Дима...
- Дмитрий! Мама, говори «Дмитрий»! — перебил.
- Хорошо, Дмитрий!

Прослушивание проходило хорошо. Учителя, которые проводили тестирование, оказались не такими уж и страшными. Спрашивали, я отвечал, снова спрашивали и я снова отвечал. Называл свое имя, адрес, имена родителей, проводил простые арифметические действия — складывал, вычитал, наизусть по порядку называл буквы алфавита, в общем, был на удивление прекрасен и даже нравился сам себе.

Гольфы немного сползли, поэтому, сидя на стуле, неловко задрал ноги, чтобы подтянуть их. Уж больно хотелось не только чувствовать себя на высоте, но и выглядеть так же. Сидящие напротив меня учителя не оценили этого поступка. Не понравились им чуть ли не выше стола задранные ноги в сандаликах.

Одна из учительниц, та, что была старше всех, худощавая, с острым английским лицом и тонкой шеей, от удивления открыла рот и откинулась на спинку стула. Я тут же почувствовал резкую перемену отношения к себе. Воздух в классе потяжелел. Чтобы вдохнуть его, необходимо было приложить огромные усилия. Казалось, что я сейчас задохнусь. Опять затряслись губы и подбородок.

Учительница с английским лицом посмотрела на мою маму. После некоторой паузы она взяла со стола книжку и протянула мне:

- Почитаешь нам?
- Да, — еле слышно ответил.

Это была тонкая детская книжка. На обложке был нарисован мальчик в огромной шапке-ушанке, в полушубке и в валенках. В руках у мальчика была «Азбука». Я взял книжку, положил перед собой и вслух прочитал:

— Эл, Эн, Тол-с-той, Фи-ли-п-пок.

— Открывай, читай, — с нескрываемой серьезностью (почти с отвращением глядя на меня) сказала английская учительница.

Я открыл книжку и начал читать. Буквы поплыли. Маленькие непохожие друг на друга кораблики сталкивались, набегали друг на друга, путались и снова разбегались в разные стороны. Слова распадались и мои глаза никак не могли собрать их в единое целое, а строчки все накатывали, как волны, и накатывали. В тот момент мне совершенно не хотелось быть «Дмитрием». Я чувствовал себя маленьким, никому не нужным человечком, который только и хотел, чтобы хоть кто-то прижал его к себе, успокоил, погладил по голове и назвал каким-нибудь нежным словом, воробышком, например, или даже воробышкой.

Чтение вслух никак не давалось, язык не слушался, зубы мешали, щеки то надувались, то, напротив, втягивались. Пыхтел, кряхтел, шепелявил, картавил, покрывался испариной. Гольфы опять сползли, но мне уже было все равно, не до них. Лишь бы скорее все это закончилось.

Английская учительница наконец-то произнесла:

— Спасибо, Дмитрий, хватит, — посмотрела на мою маму, — сами понимаете, рано...

— Да, — согласилась мама.

Я закрыл книжку, встал со стула и самостоятельно, без чьего-либо разрешения направился к дверям, на выход. Больше не мог находиться в том помещении ни секунды. Мама оторопела. Учительница тоже.

— Дима, а до свидания сказать? — крикнула мне вдогонку, но я уже выскочил за дверь в коридор. Дошел до стены, прислонился к ней спиной и сполз на корточки.

Через пару минут мама вышла. В руках у нее была та самая книжка:

— Не взяли, — вздохнула, — вот, книжку тебе подарили. Хоть не зря съездили.

— Ага...

До дома доехали быстро, без особых приключений, пообедали, я отпросился на улицу. Взял книжку, вышел во двор, уселся на лавочку и начал читать, водя указательным пальцем по строчкам. В книжке рассказывалось о мальчике по имени Филиппок, который так сильно хотел учиться, что сам пошел в школу, а когда пришел, учитель оставил его, несмотря на то, что Филиппок был еще совсем маленький. Прочитал, закрыл, положил на лавочку и пошел домой. В голове крутилась одна фраза: «Неправда какая-то».

Книжка так и осталась там лежать на лавочке, а я еще долго думал о том, что писать такие неправдоподобные истории, обманывать читателя, особенно такого, как я, нехорошо. Не могли взять Филиппка в школу, даже если он сильно-сильно хотел учиться. Меня же не взяли, а я уж в своем желании никак не уступал этому мальчику.

Полина Барскова, поэт (г.Амхерст, США)

**«Этот мир боится не пиратов,
он боится скуки»**

Всерьез задавшись вопросом, что же так привлекает меня в «Острове Сокровищ», я постепенно понимаю, что это не азартный хруст костей на пиратском флаге, не соленый, жаркий, обжигающий воздух странствий, не переливающиеся, недоступные и невозможные драгоценности: скорее, это ощущение тревоги, очень мне понятной и тридцать лет назад, да и сейчас.

Читателем этой книги овладевает тревога, главная эмоция, главная нота подростковости: ожидание, страх, незнание, желание — и метафоры, в которые все это воплотилось: океан и коварный предатель-пират, шармер-повар, он же лучший друг, надежда и опора юнги Джима.

Столько раз я перечитывала и пересматривала эту историю, что сюжет в моей голове совершенно изменил форму (лукавы законы перечитывания). Этим и сложен, интересен вопрос о любимой книге детства, которая идет с тобой, живет с тобой всю жизнь, меняясь, как и ты, подлаживаясь к твоим переменам. Думая об этой книге, закрывая глаза, я вижу, как из тумана неведения, невинности, выплывает шхуна и овладевает нашим героем, чтобы в конце уже он овладел ей и привел роман к развязке. Меня всегда поражало, что по-английски корабль это «она», самоуверенная, дерзкая «Испаньола», несущая героев к испытанию их на прочность.

Туман, который окутывает мир Джима в начале, исчезает, так открываются глаза у котят и щенков, так со временем узнаешь, что враг познается в беде, и учишься его ценить.

Автор романа — существо прихотливое: создатель одного из первых текстов о двойственности, о перетекании друг в друга Джекила и Хайда, о том, как трудно бывает различить Добро и Зло. Так же и «Остров сокровищ», роман о вхождении во взрослый мир, где все двойственно, мерцает, лукавит, может оказаться не тем, чем кажется, чем хочется: и сокровища, и наставники, и карта острова; роман о несоразмерности, о взрослении, о соотношении маленького и большого. Юнга Джим, кого сначала замечают не более, чем пиратского попугая, из наблюдателя, которого носит вдоль событий, как перекасти-море, становится автором событий, их первопричиной.

При этом роман Стивенсона также трогателен: он изобилует эпитетами «ужасный», «невероятный», «таинственный»: этот мир, в первую очередь, боится не пиратов, он боится скуки. Вернемся к туману на побережье, куда Джим поначалу ходит с матушкой: именно от этого серого, вязкого тумана обыденности желает нас спасти Стивенсон, задумывая всю эту пронзительную вампуку.

Еще одна сильная нота здесь: память. Пираты все время вспоминают о своем ослепительном и отвратительном прошлом, здесь все, включая неотразимую черную метку, происходит из прошлого, возвращается. Из прошлого возникает и главный текст этого текста: карта острова, главное сокровище — это то, что можно читать, чтить, как реликвию, чему и за чем можно следовать на край света.

Это впечатление: когда нацарапанная нетвердой рукой, теперь уже ветхая, карта становится островом, оборачивается реальностью, — один из главных уколов этой книги.

«Остров сокровищ» — книга о мираже и соблазне, но Сильвер не только мерзкий подлец, все гораздо опаснее: он настоящий соблазнитель, как аббат Фариа у Дюма (еще одна неотразимая для меня история), он вводит юнгу Джима в соблазн пиратской вольницы, откуда вернуться почти невозможно. Любопытно, что именно одноногий Сильвер является главной фигурой притяжения в этой книге, а не очаровательные друзья Джима: безукоризненно мрачный капитан Смоллетт, безукоризненно безукоризненный доктор Ливси и безукоризненно легкомысленный сквайр Трелони (мой любимец, предшественник грядущих литератур катастроф обаяния, ненадежности и хвастовства, как, скажем, Карлсон). Джим и Сильвер нужны друг другу: Сильверу нужно ослеплять и покорять, Джиму нужно преодолевать, перерастать, оставлять за кормой.

С детства меня преследует проклятие Сильвера: завтра «те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым!» — завтра, всегда думаю я, вспоминая эту книгу, все повторится, живые смешаются с мертвыми, корабль-призрак отправится искать сокровище смысла, сокровище судьбы, маленький Джим отправится искать себя, а читатель отправится искать (и каждый раз находить) наслаждение от игры в пиратов и игры во взрослых.

Ирина Богатырёва, прозаик (г.Люберцы, Московская область)

Серёжкины рассказы

Что такое литература и в чем ее отличие от невыдуманной истории, я не очень в детстве понимала. Граница была проницаема — где книжка, а где жизнь, где выдуманно, а где прожито. Да какая, собственно, разница? Не уверена, что для меня и сейчас-то эта граница является такой уж принципиальной, а тогда и подавно.

И все благодаря моему папе.

Дело в том, что мой папа — вдохновенный рассказчик. Яркий, увлекающийся, он с первых слов завладевал вниманием публики в моем лице и так выстраивал нарратив, так погружал в сюжет, что публика сперва немела, раскрыв рот, а потом требовала повторений.

— Про телегу! Про быка! Про то, как на тебя тетя упала! — командовала я, и папа в сотый раз рассказывал истории из своего деревенского детства.

Как по улице четыре мужика вели на цепях огромного колхозного быка, а тот вдруг вырвался и погнался за глазевшими пацанами. Пацаны врассыпную, мой маленький папа остался один, но не испугался, а смело залез на забор. Бык — бамц! — рогами, но сбить не может. Бамц опять — и застрял! Тут подбежали мужики, быка схватили за цепи и дальше повели.

Или вот про то, как папу-младенца носили мыть в общественную баню, и там огромная тетища, сто кило, упала на него с верхней полки! Рухнула — и ревет, и бабушка, папина мама, ревет, и все в бане ревет — решили, что папу раздавило, что от него мокрое место осталось. А папа ревет тоже, но не потому, что раздавленный, а потому что отскочил и о стенку ударился. Просто он весь намыленный был и из-под тетищи, как обмылок, выскочил.

Но моя любимая история была про то, как папа с большими мальчишками воду с реки на телеге возил. Они вкатывали бочку в телегу по доске, а потом перекидывали эту доску через ту же бочку и, пока кобыла волокла телегу в горку с речки, катались там, как на качелях. Но папа маленький, легкий, он как сел — так и навернулся с этой доски, и прямо под колеса телеги! А она ему по голове проехала. Мальчишки перепугались — отрезало голову-то! — кобылу хлестать, и погнали в деревню. А папа поднялся, что такое — темно, ничего не видит. Кое-как домой бредет, а в деревне все бегают орут: отрезало, мальчонке голову отрезало!

Просто дорога была очень грязная, голова целиком в грязи утонула, вот папа и выжил.

Но были у него и другие истории, из городского детства — их семья много переезжала, и папа везде успел пожить. В этих историях все было не так рискованно, но тоже интересно. Там папа манную кашу из окна выбрасывал, светлячка в коробочке держал, в цирк ходил со своим другом Мишкой... Этих историй было очень много, поэтому папа читал их по книжке. С не меньшей выразительностью и вдохновением. Записал эти папины истории писатель Виктор Драгунский. Я их ужасно любила, не меньше, чем деревенские.

Правда, кое-что меня все же смущало.

— Папа, а почему тебя в книжке зовут Денис?

Ответ на этот вопрос менялся по мере моего взросления:

— А это потому, что я, когда был маленьким, был Денисом, а потом вырос и имя поменял. — Или позже: — Это потому, что писатели всегда своим героям другие имена дают, не как в жизни. Чтобы они хоть немного, но отличались.

— А Мишке почему не поменял? — не унималась я (лучшего друга моего папы, соратника во всех его приключениях действительно звали Мишкой).

— Потому что он персонаж второстепенный, не так важно.

— А откуда писатель вообще все это про тебя узнал?

Не помню, что отвечал на это папа, видимо, мне это было не так-то важно. Гордость за то, что про папу написали целую книжку, была важнее. И, приходя в сад, распираемая этой гордостью, я собирала вокруг себя группу, и начинались бесконечные пересказы папиных историй: про быка и отрезанную голову, про манную кашу и «расскажите мне про Сингапур», про тетку в бане и как Мишка с Денисом — который на самом деле не Денис, а Сережа, но мы-то об этом никому не скажем — выкрасили сестру краской из шланга.

Группа слушала, разинув рты. Меня уважали. Это был мой проверенный способ поддерживать в саду авторитет.

Все кончилось как-то разом. Не помню, кто мне открыл глаза, наверное, воспитательница: «Это не про твоего папу, это у писателя Драгунского есть сын Денис, вот про него он и писал рассказы».

Почему-то я поверила ей тут же. Сработала магия имени: если есть Денис, который и на самом деле Денис, значит, это и правда не про папу Сережу.

И значит, папа мне врал.

Мой лучший на свете папа...

— Это неправда! Это все не про тебя! — ревела я вечером дома.

— Ну, кролик, это же и про меня тоже, про наше поколение, про всех нас...

— Неправда! Это не про тебя, не про тебя, не про тебя! Ты не Денис!

Я была безутешна. У меня рухнул мир, а вы мне про тонкости литературы.

Наконец, проревевшись, проплакавшись, я затихла в своей комнате — и до меня стал долетать разговор родителей на кухне.

— Но я думал, она понимает! — говорил папа в отчаянии. Я впервые слышала у него такой потерянный голос.

— Понимает что?! — изумлялась мама. — Что это не про тебя?

— Нет, про меня! И не про меня... Но это же все условности!

— Шестилетний ребенок? Сереж! Ты меня удивляешь!

И тут у меня в голове что-то сработало. Нет, он меня не обманывал — он просто меня переоценил. Считал меня умнее и догадливее. Думал, что я соображу. Про границу между вымыслом и реальностью, повседневностью и литературой, про тот волшебный момент, когда жизнь переходит в текст, а текст становится частью жизни. Важной, неотъемлемой частью. И папа делал это для меня: рассказывая свои — не свои истории, делясь со мной своим — не своим детством, он позволял мне преодолевать с ним эту границу условности.

Я это, конечно, все только потом до конца поняла. Как и другое — про общее детство, не личное, а поколенческое. И про магию текста, которая позволяет ему выходить за пределы личного опыта автора, вербализовать чей-то чужой опыт, говорить от чужого лица, — много позже поняла.

Но тогда мне удалось сообразить главное: что папа меня не обманывал. Он просто относился ко мне по-взрослому.

Папа еще долго формировал мой круг чтения. И читал мне вслух, я это очень любила: Дюма и Стругацких, Кира Булычёва и Джека Лондона... Теперь же в качестве алаверды новые книги подкидываю ему я.

А «Денискины рассказы» я перечитала несколько лет назад. Глупости сказала та воспиталка: это все и правда про моего папу.

Александр Бушковский, прозаик (г.Петрозаводск)

Феномен зла и настоящей жизни

«Сквайр Трелони, доктор Ливси и другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об Острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли. И вот в нынешнем, 17... году я берусь за перо и мысленно возвращаюсь к тому времени, когда у моего отца был трактир “Адмирал Бенбоу” и в этом трактире поселился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке...»

Ну? Как вам начало? По-моему, лучше не придумашь. Идеальное начало идеального романа. Не какое-нибудь там унылое: «Смеркалось. Владимир вышел на крыльцо и посмотрел в синеющую даль» или псевдооригинальная замануха типа: «...И во-вторых!», а четкое и конкретное вступление к в высшей степени интересному историческому документу, не вызывающему к тому же никаких сомнений в своей правдивости и, я бы даже сказал, подлинности. Долгие годы я был уверен на все сто, что Стивенсон рассказывает о своем собственном отрочестве, и неважно, что Джим Хокинс жил лет за сто пятьдесят до Роберта Луиса. Именно Луиса, а не Льюиса, как пишут в некоторых изданиях. Но не в этом дело. Скажите, кто-нибудь сомневается в том, что Джим Хокинс, доктор Ливси, сквайр Трелони, а также все остальные участники этой приключенческой драмы, особенно Долговязый Джон Сильвер, действительно жили в восемнадцатом веке и пытались убить друг друга (и часто убивали) в поисках сокровищ на мрачном необитаемом острове, а не были выписаны на бумаге задумчивым человеком средних лет со слабым здоровьем?

Вступление это теперь вызывает во мне зависть, как раньше вызывало восторг. Здесь столько раздражающих воображение слов, фактов и смыслов, что хватит не на один роман. И Стивенсон еще пощадил нас, написав только один такой. А может, просто не успел сочинить продолжение о том, как сложились судьбы героев романа, оставшихся в живых, умер в сорок четыре года. Оставив нам сорок томов своего литературного наследия: романов, рассказов, статей, стихов, очерков и путевых заметок. И всего только одну небольшую книжечку о приключениях простого паренька на пиратском острове!

После первого абзаца я уже там, в 17... году, в старой Англии, королеве морей. Это мне, именно мне, а не сквайру Трелони, доктору Ливси и другим джентльменам хочется узнать все подробности этой истории, с самого начала и до конца, и на последней строчке с испугом услышать, как попугай Сильвера хриплым голосом кричит: «Пиастры!» «Остров сокровищ» — роман ясный, простой и по замыслу, и по выполнению, — пишет в послесловии к изданию 1985 года Иван Кашкин, переводчик другого стивенсоновского романа. Точно, Иван Александрович! — восклицаю я. — Простой и ясный! Особенно для меня, деревенского паренька времен заката социализма, когда в разных источниках «сквайр» переводился то как «помещик», то как «дворянский титул в Англии»; «джентльмен» вообще имел кучу значений — от хорошо воспитанного мужчины благородного сословия до человека, имеющего право носить оружие, а «трактир» отличался от «таверны» лишь красотой звучания. Все это ясно и просто, короче, понять можно, когда так интересно! Так и представишь себе вымбовку, гандшпуг, крьюйс-марс и фок-зейл. И то, что повествование сначала ведется от лица мальчишки, только начинающего жить и уже попавшего в жестокую переделку, после переходит к взрослому мужчине, доктору, джентльмену и ветерану, и потом возвращается

обратно, конечно, тоже не представляет сложностей автору, а мне, читателю возраста Джима, просто облегчает понимание и расширяет горизонты. Ну да ладно! Зато ясно, как день, что остров есть.

Остров точно есть (хоть и жаль, что без координат), и есть сокровища, еще даже не вывезенные оттуда, и уже появился старый загорелый моряк с сабельным шрамом на щеке! Скорее дальше! Загорелый — значит ходил по южным морям. Вы заметили, я говорю «ходил», а не «плавал», я уже кое-что смыслю в морях. Сабельный шрам — это не какой-нибудь там синяк от хулиганского кулака или царапина от гвоздя в заборе. Шрам свидетельствует о том, что старый моряк дрался не на жизнь, а на смерть, участвовал в морских сражениях, где или побеждаешь, или отправляешься рыбам на закуску, ветошью прикинуться не выйдет! Да-а! Вот это я называю настоящей книгой! О настоящей жизни, полной опасностей и приключений!

Погодите, это только начало. Через несколько страниц окажется, что наличие шрама — не главное в мужчине, так же как и умение постоянно пить ром (что такое этот ром, он, наверное, очень вкусный?), как пугающее сквернословие и леденящие душу рассказы о виселицах, штормах и смертельной лихорадке Жёлтый Джек. Настоящий мужчина — джентльмен без сомнительной приставки «удачи», а джентльмена отличает скромность, твердость характера и верность своему слову и долгу. В ответ на грубость и наглость джентльмен отвечает: «Если вы не перестанете пьянствовать, вы скоро избавите мир от одного из самых гнусных мерзавцев!» А на угрозу матросским ножом «Доктор (*Ливси*) даже не шевельнулся. Он продолжал говорить с ним, не оборачиваясь, через плечо, тем же голосом — может быть, только немного громче, чтобы все могли слышать. Спокойно и твердо он произнес: — Если вы сейчас же не спрячете этот нож в карман, клянусь вам честью, что вы будете болтаться на виселице после первой же сессии нашего разъездного суда». Вот так джентльмены, люди образованные, свободные и благородные, осаживают негодяев и грубиянов, исповедующих хамство, религию рабов.

Или вот как отвечает на ультиматум врага капитан Смоллетт, с горсткой товарищей окруженный в деревянном домишке троекратно превосходящей по численности бандой пиратов. На ультиматум, который безжалостный Сильвер заканчивает словами: «Если вы откажетесь, вместо меня будут говорить наши ружья. <...> А те из вас, кто останется в живых, позавидует мертвым». «Отлично, — сказал капитан. — А теперь послушайте меня. Если вы все придете ко мне сюда безоружные поодиночке, я обязуюсь заковать вас в кандалы, отвезти в Англию и предать справедливому суду. Но если вы не явитесь, то помните, что зовут меня Александр Смоллетт, что я стою под этим флагом и что я всех отправлю к дьяволу».

В общем, храбрость и честь сильнее подлости и жажды наживы. Из книжки Стивенсона это и дураку станет ясно. Остается только одна загадочная фигура — корабельный кок и глава заговорщиков Джон Сильвер. Вот уж феномен так феномен! Вообще, почти в каждом романе Стивенсона есть обаятельный злодей, но тут он выписан особенно выпукло. Кулинар и убийца, весельчак и лжец, смельчак и предатель. Не только автора, но и многих из нас занимает природа зла, его суть и нутро. Почему иногда (изредка, давно, в молодости) во мне просыпалось желание запустить обломком кирпича в зеркальную витрину магазина или в огромное оконное стекло банка? А уж вынести под шумок миллион из этого банка кто из мужчин не мечтал? В мелких и средних купюрах, с разными сериями и номерами. Да и некоторым девушкам часто больше нравятся brutальные негодяи, чем страдающие и переживающие за правое дело положительные герои, пусть и романтики. Отчего? Оттого, что натура человеческая склонна ко греху? Хорошее объяснение, но не очень убедительное. Какое-то умозрительное...

Джон Сильвер не brutalен и не романтичен. Он прагматичен. При всех его достоинствах он циник и подлец. И все же мне не хочется, чтобы честный и

благородный капитан Смоллетт всадил ему пулю в спину, как обещал, или недовольные его руководством пираты низложили его черной меткой и подняли на свои ножи, и тем более я против того, чтобы он болтался на виселице где-нибудь в Бристоле, звеня железными оковами, и над ним кружили вороны, и моряки показывали на него пальцем, говоря один другому: «Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал». И я знаю, почему я против этого. Из всей совокупности плохих и не очень плохих черт, составляющих личность Сильвера, выделяется одна, ради которой я с радостью прошу ему его измену. Это чувство юмора.

Юмор Сильвера — это юмор самого Стивенсона, вложенный в уста его едва ли не главного персонажа (две части романа из шести названы автором в его честь — «Судовой повар» и «Капитан Сильвер»). Это озарение посетило меня, только когда я раз сорок за двадцать лет перечитал роман и уже знал наизусть многие сцены и диалоги. Во время одного из таких перечитываний я вдруг заметил, что смеюсь над ремаркой автора, не относящейся к Долговязому Джону. Прошу извинить меня за короткий и бледный пересказ захватывающего авторского текста.

Оставшиеся в живых пираты, больные и измученные, обретя вождя, идут на поиски сокровищ и вдруг слышат в лесу жуткий голос, который выкрикивает предсмертные слова Флинта, их бывшего капитана, жестокого убийцы, умершего много лет назад в страшных мучениях. Все, включая Сильвера, дико пугаются и теряют волю и мужество продолжить начатое дело. Но Сильвер быстрее других берет себя в руки и доказывает всем, что голос этот не голос привидения (поскольку у него есть эхо) и не голос Флинта, а похож? скорее... да! Это голос Бена Ганна, бестолкового и безобидного матроса, никем не воспринимаемого всерьез. Пираты быстро приходят в себя, и только молодой Дик сомневается:

«— А велика ли разница? <...> Бен Ганн покойник, и Флинт покойник.

Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию.

— Плевать на Бена Ганна! — крикнул Мерри. — Живой он или мертвый, не все ли равно? <...>

Он сказал правду: жив ли Бен Ганн или мертв, его не боялся никто».

Конечно, многим это не покажется смешным, но я почему-то смеялся.

Чувство же юмора самого Сильвера требует отдельного акцента. В той же сцене поиска сокровищ пираты сначала находят скелет человека в лохмотьях истлевшей одежды, опять же поначалу пугаются, но потом внимательно разглядывают его.

«— Это моряк, — сказал Джордж Мерри. <...> — Одежда у него была морская.

— Конечно, моряк, — сказал Сильвер. — Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа?»

Начав просматривать в тексте монологи Джона Сильвера, я с дурацкой улыбкой опять залип в книжку и вдруг подумал, что из моего сумбурного сочинения не ясно, почему же пираты выбрали себе капитаном пожилого одноногого повара. В прекрасном переводе Н. Чуковского Сильвер сам говорит, что он не был капитаном, капитаном был Флинт, а он был у Флинта квартирмейстером, то есть заведующим продовольствием, и «старые пираты Флинта слушались его, как овечки». Квартирмейстер меня не устраивал, поскольку я сумел узнать об этой должности только то, что она сугубо хозяйственная. Но тут я увидел по телевизору выступление замечательного писателя Михаила Веллера, который, как оказалось, уважает Стивенсона не меньше моего. Михаил с присущими ему жаром и эмоциональностью объяснил, что термин «квартирмейстер» происходит не от квартиры, а от английского морского термина «квартердек», обозначающего верхнюю часть палубы корабля, с которой первой идет в бой на вражеский корабль абордажная команда, и звучит он, скорее, как «квартермастер», то есть повелитель этой отчаянной орды. Квартермастер — второе лицо на корабле после капитана. Все стало на свои места — попробуй-ка

не послушайся капитана второго ранга и командира корабельного спецназа, можно сказать, морской пехоты.

О! Вот еще пара фраз Сильвера на закуску, и надо закругляться. «Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы», — говорит Сильвер, имея в виду глаза своего соратника Пью. Не знаю, называли ли в то время корабельные оконца иллюминаторами, но дело не в этом, а в том, что, несмотря на всю черноту этой шутки, мне снова смешно. Или в том же духе (обращаясь к своим товарищам): «Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам! Знаю я вашего брата. Налакаетесь рому — и на виселицу». Нет, простите, не могу пройти мимо еще одного перла корабельного кока и по совместительству главаря заговорщиков: «Долг прежде всего, ребята. И я голосую — убить (*это он о противниках, которых предполагается взять в плен*). Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разбегаться в золоченой карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих тонконогих стрекулистов».

Прошу простить меня за то, что мне нравятся эти грубые шутки, но именно благодаря им мне так и не удалось возненавидеть Сильвера и начать его презирать. Фигура главного злодея стоит особняком от остальных пиратов и остается таковой до самого конца романа. Словно Стивенсон хочет признаться мне, что аксиома «добро побеждает зло» неочевидна и все же требует доказательств. Потому и ускользает «одноногий дьявол» от справедливой кары, да еще и с помощью смешного недотепы Бена Ганна, главного виновника его фиаско, который так боится Сильвера, что сам помогает ему сесть в лодку и скрыться с мешочком золотых монет. Они, «несомненно, пригодятся ему в дальнейших скитаниях».

Пожалуй, все, о чем я говорил, — только малая часть тех впечатлений от любимой книжки моего детства, какими я мечтал бы поделиться. Однако, чтобы поделиться остальными, пришлось бы процитировать ее всю и всю прокомментировать. Ну, может, кроме первого абзаца.

P.S. «— Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему. Дик загубил свою душу, изгадил свою Библию, и все понапрасну.

— А может быть, она еще годится для присяги? — спросил Дик, которого, видимо, сильно тревожило совершенное им кощунство.

— Библия с отрезанной страницей! — ужаснулся Сильвер. — Ни за что! В ней не больше святости, чем в песеннике...»

Алексей Варламов, прозаик (г.Москва)

«Мальчик по-прежнему обещает не плакать...»

Одним из самых загадочных персонажей моего детства был родной брат моей бабушки Георгий Анемподистович Посельский — дядя Юра, как я его звал. Это был высокий, прямой, суховатый старик, инженер, прошедший всю войну и поднимавший потом нашу промышленность, но при этом человек в отличие от бабушки глубоко несоветский, одинокий, очень сдержанный — в общем, настоящий русский дворянин, осколок другой, неведомой мне дореволюционной России. Он иногда гостил у нас на даче в Купавне, разговаривал с бабушкой по-французски о политике, чтобы мы не могли понять его возмущенных речей и ссылок на «Би-би-си» или «Голос Америки». У самого у него внуков не было, и на нас, галдящих, невоспитанных, чумазных, вечно

утаскивающих с кухни куски хлеба или играющих перед домом в игру с неприличным названием «жопки», он смотрел, по-моему, с таким же ужасом, как и на все советское царство-государство. Однако ж на дни рождения дарил всякий раз мне книги. Нет, это была никакая не антисоветская детская литература, если только такая бывает, ни даже почтенная русская классика, но какие-то сочинения, которые мне навсегда запомнились, и больше всего — одно из них.

Эта книга называлась «Сага о малыше Хьялти» и была написана исландским писателем Стефаном Йоунссоном — такой своего рода роман воспитания, взросления, история человеческой души. Я прочитал ее не один раз, я с этой книгой жил, полюбил ее главного героя и чувствовал его как себя, хотя что общего было у обыкновенного советского школьника из Пролетарского района города Москвы застойных лет и исландского мальчика начала двадцатого века, выросшего на маленьком хуторе Лейгамири в центральной части далекого острова в северной части Атлантического океана? Мальчика, который и в школу-то не ходил, потому что его отец умер, мама живет с маленькой сестрой на другом хуторе, а он должен работать за кусок хлеба, да еще унижаться и благодарить своих надменных хозяев, разбираться в их сложных взаимоотношениях и быть, по сути, их заложником. Что было мне до него и этих запутанных обстоятельств? Однако что-то было, и до сих пор для меня это и есть великая тайна литературы, которая прорывает границы времени и пространства, взламывает политические системы, сближает далекое и разделяет близкое. К тому же сага была удивительно проиллюстрирована Орестом Верейским, и текст, в котором герои и без того были как живые — тут, наверное, сказался отменный перевод, — и рисунки, где ты видел этих людей: самого малыша Хьялти, его подружку Хельгу, строгую хозяйку Сольвейг, ее малахольного мужа, красавицу Сигту, в которую девятилетний Хьялти влюблен и хочет на ней жениться, мальчишек с соседнего хутора, — так вот слово и картинка соединялись таким образом, что я уносился из своего заводского района, от грязных улиц, дворовой шпаны, от своей замечательной английской спецшколы с ее тошнотворными педагогическими нравами на дальнюю прекрасную землю к мальчику, старающемуся никогда не заплакать. Даже тогда, когда пропала в снежном бурене подаренная ему на день рождения овечка — единственное богатство маленького батрака. Упорный, целеустремленный, очень живой, искренний, но при этом ни капли не заносчивый — он мне был страшно симпатичен и сделался кем-то вроде брата, которого у меня не было.

«Сага о малыше Хьялти» — книга очень печальная и очень смешная, трогательная и ироничная, снисходительная и беспощадная. Богатая положениями, характерами и лицами, детским взглядом на взрослый мир и взрослым отношением к детству, и мне очень жаль, что она мало кому в нашей стране известна и с тех пор ни разу не переиздавалась. О ее авторе в русском интернете нет ничего, да и в английском тоже лишь общие сведения. Когда родился, где учился, что написал и когда умер. Правда, в предисловии было сказано, что Стефан Йоунссон всю жизнь проработал учителем в школе и был большим другом Советского Союза. Может и так, тогда в друзья СССР кого только не записывали, но мне кажется, что этот человек по своему характеру просто не мог быть ничьим врагом, и я бы очень хотел с ним встретиться и поговорить. И страна Исландия, где я никогда не был и которую видел лишь с высоты самолета по пути в Америку, так и осталась для меня страной хуторов, патриархальных отношений, овечьих стад, загонов, снежных бурь, быстрых ручьев и холмов, среди которых ищет свою пропавшую овечку веснушчатый мальчик, нарисованный Орестом Верейским.

Я всегда о нем помнил и всем, кому мог, про эту удивительную книгу своего детства рассказывал, но долгое время я не решался ее перечитывать, боясь разрушить очарование детского восприятия, и сделал это лишь нынешним безумным летом, в пресловутой самоизоляции, когда от обалдения чем только не займешься. Открыл,

начал читать как в первый раз, но постепенно возвращаясь в далекие годы, узнавая, вспоминая, открывая новые смыслы и понимая, что не ошибся. Это действительно выдающееся творение, в равной степени захватывающее и ребенка, и взрослого человека, когда на глаза и у того, и у другого наворачиваются слезы. Умиления, сочувствия, восторга — чудная, чудная книга. Да, дядюшка мой обладал отменным чутьем русского инженера, и давно нет в живых ни его, ни Стефана Йоунссона, а мальчик Хьялти по-прежнему обещает не плакать, но не выдерживает и плачет о том, что никто не придет назад...

Андрей Геласимов, прозаик (г.Москва)

«Провинившиеся книги помещались под арест»

Как-то раз я вернулся из школы и увидел свой книжный шкаф пустым. Чувство сиротства такой же остроты я переживал потом не более трех раз. Мама сказала, что выбросила мои книги. Я нагрубил ей, о чем жалею вот уже более сорока лет, и тогда она открыла дверь в кладовку. Все книги аккуратными стопками лежали там на полу. Шкаф с ними был слишком тяжелым, а его требовалось передвинуть. Но вообще в семье практиковались наказания в виде запрета книг. Родители быстро нащупали мое уязвимое место. Томик перемещался с моего стола на телевизор, откуда взять его разрешалось только после амнистии. Впрочем, не уверен, что эта штрафная система не выдумана мною позже. Надо уточнить у мамы. Так или иначе, книги моего детства оказались основательным рычагом, чтобы раскатать мои отношения с внешним миром. Учителя выгоняли из класса за то, что читал под партой. В начале семидесятых годов прошлого века эти смешные столы были очень удобны для подобной цели — приподнимаешь зеленую крышку и потягиваешь контрабандой из полутьмы то Урфина Джюса, то Капитана Немо. Тогда эти имена звучали для меня мощнее, чем сейчас любимые названия односолодовых напитков. Провинившиеся книги изымались и помещались под арест. Чтобы выручить друга, приходилось вести в школу маму. И это, в свою очередь, подрывало кредит доверия к литературе в семье. Мы были в какой-то степени изгоями — я и те книги. Подозрительными лицами, с которыми уху надо держать остро. Если честно, мне и сейчас иногда кажется, что подозрения далеко не сняты.

Юлий Гуголев, поэт (г.Москва)

По стопам беспутного героя

Прямо скажем, книжки любил, но не очень. Во всяком случае, книжки без картинок. А любил — ходить в кино, а после — есть мороженое... вообще, любил *есть на улице*. Но на все это требовалось разрешение взрослых. И деньги.

Да! Деньги тоже очень любил. Помню, как сейчас: мне лет шесть, под новогодней елкой нахожу подаренный мне железный рубль с Лениным. О, как был прекрасен мой первый Ильич! Я любил его больше книг. Вскоре, кстати, он был конфискован

в семейный бюджет кем-то из близких родственников. Да, деньги и только деньги могли дать свободу и утолить дикие прихоти детства, как правило, сводившиеся к количеству порций и сочетанию различных сортов продукции Хладокомбината № 8. О миражах шашлыков и чебуреков в Сокольниках тоже грех не вспомнить, но речь сейчас не о них. Когда б я был, как Монте-Кристо! Я бы купил все и даже угостил товарищей. Но мне было слишком ясно, что дивный отсвет сокровищ Борджиа никогда не озарит бесправную тьму моего детства. А потому, что проку перечитывать Дюма и впустую дразнить свою алчность и свободолюбие. Нет, я читал, читал и перечитывал Джеймса Гринвуда. «Маленький оборвыш». Джим Бализет скитался по улицам Лондона, удачно запуская руки в чужие карманы, после подсчитывал криминальные барыши: пенсы, шиллинги, соверены, гинеи... У меня дух захватывало от этих названий. И я никак не мог понять, а сколько же это будет в моих железных, новогодних Ильичах? Сколько стаканчиков по 19 коп. можно купить на одну гинею? Останется ли еще сдача, чтобы в незнамо какой раз сходить на «Золото Маккены», все из-за той, со шрамом, индианки? Правда, на украденные деньги покупал мой герой совсем не мороженое, а какие-то, в то время трудно представляемые мной, пудинги — то гороховый, то мясной. Нет, я знал, что такое пудинг, но все известные мне пудинги всегда были десертами. Так что за Джима в этом смысле я мог не волноваться. И спать его в девять вечера никто не загонял. Вот она — свобода! — финансовая, гастрономическая и свобода передвижения!

Да, я увлекся, поверил и пошел по стопам своего беспутного героя. Я стал приворовывать в гардеробе музыкальной школы. Я помню тяжелый плеск мелочи на дне иного кармана, горечь разочарования, если карман пуст, боязнь разоблачения и удивительное отсутствие стыда. Джим Бализет вел меня. Сначала в гардероб, потом в галантерею, где был куплен и подарен маме на 8 марта паучок из поддельного янтаря, а также один, нет, два перочинных ножичка. Сколько фильмов мы посмотрели вместе с Джимом, сколько гороховых лакомок и мясных эскимо умяли на грани ангины! Но не все было потрачено впустую. Что-то было отложено про черный день. Думаю, рублей пять или семь: трояк, а остальное мелочью. Поддельной кожи кошелек, купленный все в той же галантерее на Кутузовском, принял мои богатства. Кошелек был упрятан в старый, одинокий вязаный носок, а тот, в коробке из под настольного хоккея, отправлен под книжный шкаф. Борджиа бы до такого не додумался. Но однажды, во время уборки, моя мама обнаружила всю эту матрешку (яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке), вытащила коробку из-под шкафа, а меня — на чистую воду. Я сразу начал кричать: «Я не крал! Я не крал! Я нашел!» — чем, кажется, выдал себя с потрохами. Значит так, сказала мама, если эти находки не прекратятся... Договаривать фразу до конца нужды не было. Мне оставалось только утешаться тем, что и Джим Бализет запарол свою карьеру карманника и перестал промышлять в Ковентгардене.

С тех пор и я больше не воровал. Нет, однажды, в Лос-Анджелесе, я как-то по пьяной лавочке решил стянуть в супермаркете упаковку нарезанной ветчины за два тридцать пять (обычно-то я покупал за 99 центов). Слава богу, меня не застукали. Я пришел в свою нору, я сел перед телевизором, хлебнул пивка и стал закусывать краденной убоиной. И вот почему-то в этот момент вспомнил о своих воровских похождениях. И заплакал. «...и, плача, вспомнил про Стоушера — Билла, вспомнил, как отделал его в тот давно прошедший вечер. Бедный, старый Стоушер Билл! Теперь Кинг хорошо понимал, почему Билл плакал в раздевалке».

Но это, как вы сами понимаете, уже совсем другая история.

Максим Гуреев, прозаик (г. Москва)

Времена чтения

Мать говорила ему — тогдашнему мне: не вздумай расчесывать волдыри, а то на всю жизнь останутся шрамы.

Волдыри чесались страшно, конечно, зудели, но он старался не прикасаться к ним и не думать о них. Только и оставалось, что смотреть на свои руки, размеченные зеленкой словно местность на контурной карте, да вставлять пальцы как закладки между страниц лежавшей перед ним на одеяле книги.

Это были «Мёртвые души», которые он про себя называл «МД», потому что боялся слова «мертвые», а значения слова «души» не понимал.

Читать поэму Гоголя задали на зимние каникулы, но после Нового года заболел ветрянкой, несколько дней пролежал с температурой сорок, потом в ход пошла зеленка, и по ночам, когда никто не видел, все-таки эти самые волдыри расчесывал, потому что они высверливали кожу откуда-то изнутри, пузырились и лопались, исходя горчишной жижей.

Дул на болячки, веял на них холодком.

Дул на страницы и тем самым их перелистывал.

Никогда не думал, что прочитанное в болезненном состоянии будет таким объемным, ярким, переливающимся, как осколки цветных стекол в трубе калейдоскопа. Почему-то воображал себе, будто бы человек в колпаке и грязном салопе, чесался так же, как и он, шепелявил беззубым ртом, называл себя то ли Стефаном, то ли Степаном Петровичем, вариант, Кузьмичом, имел фамилию Плюшка, вонял какой-то дрянью, серебрился щетиной, как выгоревшей на солнце травой, подводил глаза сурьмой, кряхтел, пускал ветры.

Странно, но почему-то именно этого персонажа вспоминал в первую очередь, хотя знал наверняка, что в книге были и другие. Вполне себе благообразные и даже симпатичные — Заманилов, например, или Ноздрин.

Примеривал Плюшку на себя при чтении.

Вот, например, чтобы почесать спину, Степан то ли Петрович, то ли Кузьмич, использовал специально для того случая изготовленную трость с притороченной на конце гребенкой. Ёжился, воображая себе, как это должно быть удобно забираться туда, куда дотянуться руками уже невозможно, мечтал о таком приспособлении, посматривая в сторону стоящих у двери лыжных палок.

Утром приходила мать и смазывала лопнувшие болячки, снова говорила про «не вздумывать расчесывать волдыри» и про шрамы на всю жизнь и уходила на кухню.

А он лежал какое-то время неподвижно, ждал, когда высохнет зеленка, и представлял себе точно такого же неподвижного, словно окаменевшего помещика Михаила Семеновича Собакина, хотя точнее было бы его поименовать Медведевичем или Топтыгиным. Дотягивался подбородком до края одеяла и словно бы упирался в стоящий колом, отороченный бархатом ворот сюртука. Лицо при этом получало выражение угрюмое и недоверчивое, потому что нижняя губа выступала вперед, отключивалась и стремилась достичь кончика носа.

«Вылитый Медведевич, — мыслилось, — вылитый Топтыгин».

Потом оживал и начинал шевелиться в кровати.

Брал книгу, вставлял в нее пальцы-закладки, считал до десяти и наугад открывал МД на безымянном пальце.

И тут же в комнату входил мальчик по имени Прохор, лет тринадцати, не более, в огромных, как перевернутые самоварные трубы, сапогах, скорее всего, общего

пользования, то есть носить их могли все люди помещика Плюшки вне зависимости от пола и возраста.

Спотыкался, но ухитрялся при этом удерживать равновесие.

Ставил на табуретку рядом с кроватью стакан горячего чая с лимоном, а рядом клал бутерброд с колбасой.

— Максим, надо обязательно съесть бутерброд и выпить чай, — доносился с кухни голос матери, и Прохор тут же исчезал вместе со своими сапогами, гремел ими уже где-то на лестничной площадке, а им вторил мусоропровод, скорее всего, это соседи сверху выбрасывали пустые бутылки, потому что носить их сдавать в пункт приема стеклотары считали ниже собственного достоинства.

А Чичиков все куда-то ехал и ехал, бранил кучера Селифана, натирал щеки губкой, благоухал.

Когда он читал об этом бесконечном путешествии героя, то выбирался из-под одеяла, подкладывал подушку под спину и тут же переставал быть Собакиным. Следовал за Павлом Ивановичем неотступно и мог видеть лишь его спину в ладно пригнанном по фигуре жакете, лица же его при этом было не разобрать, следовательно, и Чичиков не имел возможности видеть перемазанного зеленкой мальчика, потому что предпочитал не оглядываться.

Впрочем, это было и к лучшему, ведь Павел Иванович мог подумать, что болеющий ветрянкой и есть одна из тех самых «мертвых душ», которой он не досчитался, подводя итог заключенной с помещиками сделке, или же имеет отношение к племени древних аравитян, историю которых он вслед за Николаем Васильевичем знал преизрядным образом.

Время пролетало незаметно, и мать приходила ставить ему градусник под левую руку. Книгу при этом он откладывал, вынимая из нее пальцы-закладки, а бричка продолжала перекашиваться через овраги, оставшиеся в виде разводов бриллиантовой зелени на серовой, пахнувшей типографской краской бумаге купленного отцом на макулатурный абонемент издания.

Когда выздоровел и вернулся в школу, то выяснилось, что «Мёртвые души» уже прошли и читали что-то другое. Поверить в это было трудно, потому что для него поэма все не кончалась и не кончалась, а бричка Чичикова то исчезала за последним поворотом кривой разбитой дороги, то вновь появлялась на горизонте.

Понуро, словно в тумане, плелся по коридору, перебираясь из одного класса в другой, воображал себе, что преодолевает анфиладу комнат в доме помещика Заманилова, того самого, что виделся ему человеком вполне благообразным и симпатичным, затем спускался в гардероб, где среди сваленных в кучу мешков со сменной обувью обнаруживал огромные безразмерные сапоги, неведомо кому принадлежавшие. Оглядывался по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, влезал в них, сразу проваливаясь по колени.

«А ведь эти сапоги вполне могли принадлежать помещику Топтыгину и были бы ему, скорее всего, даже несколько маловаты, — строил гипотезы, — или дюжему военруку Кифе Мокиевичу, в которых он маршировал на школьном плацу после уроков».

Затем передевался, привязывал мешок со сменной обувью к портфелю и брел домой. Там запирался в ванной, пускал воду из крана, брал губку и начинал ей тереть себе щеки и лоб, на которых еще со времен чтения сохранились следы зеленки.

Ксения Драгунская, прозаик, драматург (г.Москва)

«Я читала книги о прошлом»

Когда я была маленькая, дома у нас, в квартире на Каретном, довольно часто был беспорядок, особенно на кухне. На обеденном столе валялось все что угодно — и, конечно, книги. Придя из школы, принявшись за куриный бульон или грибной супчик, я утыкалась в первую попавшуюся книжку. (Привычку читать за едой переняла у брата.) Хорошо шел за обедом «Справочник Союза писателей СССР» за 1961 год! Много смешных фамилий. Или брошюра с диалогами про самочувствие на английском языке (мама преподавала инглиш в медучилище). В доме было много книг неизвестных писателей, подаренных авторами моему отцу. Помню книжку «Никогда не угаснет», киевской писательницы, увы, фамилию не помню, про пионеров и беспризорников в Киеве 20-х годов. Зачитывалась! Была книжка писателя Аронова «Цирк приехал!», тоже про 20-е годы. Василенко, таганрогский писатель, «Приключения заморыша», Лидия Будогоская — «Повесть о рыжей девочке», А.И.Пантелеев — «Лёнька Пантелеев» — не оторваться!!! (Повзрослев, я поняла, что все эти захватывающие приключения питерского мальчика, потерявшегося во время Гражданской войны и ставшего беспризорником, — адский ад, страшно-то, больно-то как...) «Детство Никиты» — там так уютно...

Из зарубежных любила «Без семьи» Мало и английского «Маленького оборвыша».

А, вот! «Судьбой барабанщика» Гайдара была очарована. В студенчестве хотела экранизировать. Ох и летели же мы с режиссером куда подальше со студии Горького!.. (Были у нас там кое-какие задумки про папу главного героя и про старика Якова...)

Я читала книги о прошлом. Современная советская детская литература казалась мне фальшивой, назидательной, делящей персонажей на «положительных» и «отрицательных». Хотя с теплом вспоминаю книжки «Золотые яблоки Гесперид» питерского автора <Валентин Тублин. — *Прим. ред.*>, книжку «Чуть-чуть считается», автора не помню <Константин Курбатов. — *Прим. ред.*>.

Не знаю, какая книга на меня повлияла. Наверное, все разом...

Рассказы и повести отца я читать не могла физически, хоть и пыталась, уединившись. Мигом — рыдания. Честно, я прочла эти рассказы, когда уже сын был у меня. И поняла, что на самом-то деле они очень, очень грустные...

Олег Ермаков, прозаик (г.Смоленск)

Рапсод, или Книга на устах брата моего

Моя ранняя и самая интересная в жизни книга была устной. Первые ее главы я услышал в месте странноватом, на окраине Смоленска, во дворе перед одноэтажными шлакобетонными домами на четыре семьи обочь забора с колючей проволокой, на углу которого стояла вышка с вооруженным часовым. На запад простиралась пустошь, казавшаяся, конечно, огромной степью или прерией. Пустошь обрывалась в овраг. А за оврагом темно краснели стены и башни крепости. И еще дальше, за крепостью золотились луковки куполов собора. Крепость была Годуновской, собор тоже почтенного возраста, за колючей проволокой находилась зона, ИТЛ № 7, прозванная в народе

кроватьной фабрикой, может, там действительно делали что-то вроде кроватей, но тогда я еще всего этого не ведал. Вышка и забор с колючей проволокой и бараками за нею были частью пейзажа, совершенно неинтересной. А вот манили — стены и башни. Я это прекрасно помню. Но по малолетству не мог преодолеть все эти преграды: пустошь, овраг, и, главное, пригляд бабы Веры. Хотя однажды все-таки убежал, но слева увидел яблони и смалодушничал, свернул к ним и оказался в питомнике. Там и был настигнут погоней.

А вот брат Игорь оказался удачливее.

Он старше на пять лет. Вместе с другом по кличке Кит — из-за крупности — они побывали в крепости и потом рассказывали нам, мелюзге, об этом походе. В овраге их преследовали бродячие собаки. На подступах к стене путь им заступила тамошняя шпана, но Кит *дал им на орехи*. По темному ходу в башне Игорь с Китом взойшли на крепость. Оттуда, с верхотуры они увидели всё. Увидели наши серые шлакобетонные домики, сарай, вышку, бараки, увидели по другую сторону стены дома уже преимущественно деревянные, сады, зеленые овраги, церкви, собор на холме, а еще дальше — пятиэтажки, парки, трамваи, автомобили, автобусы и улицы с прохожими и велосипедистами и кинотеатрами. Они даже увидели попов в черных рясах возле собора. А потом, когда спускались по тому ходу в башне, из темноты выплыл огонек. Они замерли с Китом, затаили дыхание. И вот на стенке показалась тень. И это была тень рыцаря! У нее, у тени той, была круглая голова с хвостом, то есть — перьями на шлеме, в руке копье. Правда, Кит, по-моему, перечил в этом месте Игорю, считая, что это была тень просто ведьмы, и хвост — не перья на шлеме, а ее волосы, и в руке — клюка. А может, это уже был другой вариант рассказа самого Игоря. Он не раз возвращался к этому походу, расцветивая повествование все новыми подробностями. И когда всем остальным уже надоели эти рассказы, у Игоря оставался один верный и жадный слушатель.

Потом мы переехали в город, и я со своими уже друзьями сам побывал на крепости. Ни рыцаря, ни тени злобной старухи не видел, но помнил о них. И когда случилась и стычка с местными, подумал, что рассказ Игоря был все-таки достоверным, только вот не все мне довелось самому увидеть. Да, ни рыцарей, ни старух, ни попов...

Но эту лаку в действительности с лихвой восполняли другие истории старшего брата Игоря. Он, разумеется, обгонял меня, а тем более младшего нашего брата в чтении и просмотрении всяких фильмов, как то: «Крестоносцы», «Последняя реликвия», «Вий», «Спартак», «Даки», «Подвиги Геракла», книги Яна, Сенкевича, Жюль Верна, Рафаэля Сабатини, Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Стивенсона. И когда мы все ложились спать в нашей комнате, выходившей окном на улицу с гремющей трамвайной линией, Игорь после обязательных просьб с перечислением всех его достоинств — ну, там, большого ума, великой силы, исключительного рыцарства, индейской ловкости, ковбойской меткости — приступал к очередному рассказу или продолжению предыдущей истории. Это были захватывающие рассказы о рыцарях, неприступных замках с томящимися в подземельях узниками и узницами, о грандиозных сражениях с треском копий, звоном мечей, лошадиным ржанием и воплями и молением о пощаде умирающих; рассказы о мертвецах и блужданиях в душных индийских лесах; рассказы о ковбоях и гуронах с апачами; рассказы о сокровищах и пиратах.

...Нет! Мне не удастся передать и толику очарования этих вечеров. Для этого надо нырнуть на полувековую глубину, погасить свет, приступить с просьбами и, наконец, услышать спокойный и, когда надо, зловещий или совсем тихий голос старшего брата. Отлично помню, что зачастую мы с младшим тряслись от страха, покрываясь холодным потом, и конечности у нас леденели от ужаса. Истины ради надо признаться, что порой и засыпали под говор Игоря, и тогда следующий вечер был для нас потерян. Игорь вводил санкции. Правда, сам же и нарушал их, разыгрывая те же истории с пластилиновыми рыцарями в серебристых обертках от конфет, со щитами, вырезанными

из крышек от консервных банок, с копиями, на которых развевались разноцветные флажки, верхом на лошадях, задрапированных в лоскуты материи, позаимствованной в коробке со всяким рукоделием у матери; или с ковбоями в шляпах, цветастых рубашках, с кольтами на боку; с краснокожими в оперении из настоящих перьев, выданных из подушек; с пиратами на фрегатах из картона, оснащенных пушками из гильз от малокалиберной винтовки, — они начинались серой, забивались ядром из ваты — и стреляли, когда *капитан Блад* подносил спичку, — ватное ядро даже долетало до испанского галеона, и однажды этот галеон загорелся, да, вспыхнули его бумажные паруса! Рыцари тоже были не бездомные, Игорь возвел для них неприступный замок с башнями, стенами, рвом и подъемным мостом на цепочке от... ну, в общем, были такие цепочки раньше. А у ковбоев был настоящий таун с надписью «Welcome to town» на плакатике, растянутом между двумя пальмами с зеленой листвой, над посыпанной настоящим песком, набранным в детской песочнице, дорожкой, уводящей в глубь городка, к картонным домам и бару, открытому в любое время суток настезь и завлекающему всякого пестрыми бутылочками из разноцветного пластилина на полках. Неподалеку от города находилась железная дорога с рельсами из фольги и деревянными шпалами, обставленная синими скалами — кусками глыбистого стекла, собранными возле лампового завода. И по дороге этой влекся рукой Игоря картонный паровоз с трубой и вагоном, в котором за матерчатыми занавесками сидели покорители дикого Запада. Из-за скал на них и вылетали на своих мустангах индейцы с воплями и свистом. И начиналась самая горячая погоня. Мы с младшим лежали на кровати и сверху во все глаза смотрели на разворачивающийся спектакль. Как будто вечерние рассказы переводились в иной регистр или формат, точнее. Все герои вечерних историй оплотнялись. Разве это не было магией? Самая настоящая магия. И брат наш Игорь был ее творцом. Отлично помню один случай. Луки у индейцев были маленькие, но настоящие, Игорь аккуратно принимал у того или иного краснокожего воина крошечный лук, натягивал тетиву и пускал стрелу с наконечником из жести. И вот как-то стрела вонзилась в одного ковбоя на лошади. И что же? По его жилетке побежала кровь, закапала с седла, пачкая копыта... Мы ахнули. Это была кульминация магического. Наверное, Игорь упаковал в того ковбоя разведенную акварельную краску. Но как ловко он пустил стрелу! Точнее, не он, а тот индеец в живом оперении. И остальные индейцы громко заголосили: «Уууу!»

А мы выдохнули: ух ты!..

Когда санкции ослабевали, поздним вечером, перед сном мы вновь с наслаждением и трепетом внимали голосу брата, совершенно не подозревая, что становимся участниками древней традиции слушания великой устной книги всех времен и народов. Именно так и происходило все где-нибудь в отрогах Гималаев, когда рассказчик-певец увлекал своих слушателей гимнами «Ригведы» и величественными деяниями героев и богов «Махабхараты». Но первыми, наверное, начали все же жители междуречья на берегах Тигра и Евфрата. И самым древним героем устного творчества был Гильгамеш. А потом уже явились остальные: Кришна, Арджуна, Моисей, Заратуштра, первый человек на земле Пань-гу и другой первопредок Фуси с супругой-землей Нюйвой, катавшейся на черепахе, Одиссей... Вряд ли и сам Игорь это сознавал, ну, то, что он сказитель, рапсод, и то, что у него была предшественница в нашем роду — сказочница баба Марья из деревни Горбуны на озере Каспля, что раскинулось на пути из варяг в греки. Об этом я сам узнал много позже, когда бабы Марьи давно уже не было в живых.

Да, кстати, о черепахе. В доме то и дело появлялись эти персонажи детского мира: черепаха, хомяк, кролик, щенок, попугай. И однажды я обнаружил черепаху, уже проползшей под вывеской тауна; загребая своими когтистыми лапами песок, она направлялась явно к бару. Это уже был сюрреализм высшей пробы. А точнее, некая — китайская, наверное, — ипостась Кинг-Конга.

А бумажная любимая книга детства по случайному совпадению называется «Терновая крепость», ее сочинил венгерский писатель Иштван Фекете. Подарила ее мне на день рождения тетя Люба. Эта книга мой первый запой. В ней рассказывается про двух друзей, отправившихся на лето к дяде на озеро, исполненное птиц, рыб и зверей в камышах и тростниках и, разумеется, тайн в развалинах на острове.

Но мне кажется, что и эту книгу читал вслух мой брат.

Игорь не стал профессиональным рассказчиком или, например, режиссером, закончил пединститут, преподавал историю в школе, а, побывав на море, в Крыму, однажды вернулся туда навсегда, чтобы, видимо, внимать вечной одиссее морских волн и ловить древние ветры, предаваясь буддистской медитации и забыв всех нас. И я не знаю, какие новые истории восходили и восходят все это время в его сознании и кому он их рассказывает. Но испытываю всегда восхищение, вспоминая те дни и вечера Устной книги, и говорю в себе: спасибо, брат.

Дмитрий Захаров, прозаик (г.Москва)

Порошок «Не уходи»

Мне пять лет, и я еще только учусь читать. Медленно, бесконечно медленно пережевываю слоги, водя пальцем по странице — пробуя слова еще и на ощупь. Любимую книжку про волшебника Изумрудного города родители проходили со мной (от карты сказочной страны на первом форзаце до карты на последнем) уже дважды. Но мне нужно больше, а времени ждать милости от природы нет. В издавшем виды серо-коричневом издании мне уже принадлежат картинки Леонида Владимирского — я могу каждую из них нарисовать по памяти, и плевать на результат. Скоро и эти издательские буквы тоже станут моими. «Я тебя съем, и ты будешь у меня в животе», — как говорил Медвежонок в мультфильме, который я только что смотрел.

Вот именно.

Моим планам может помешать только чудо. Только катастрофа. Только катастрофическое чудо, которое, естественно, и происходит. Вернувшаяся с работы мама приносит нечто невиданное.

Мне говорили, что у «Волшебника» есть продолжение, и я его уже не раз просил. Но в книжных маленького закрытого города, где я родился, такого никогда не бывает, а библиотечный экземпляр расписан на много месяцев вперед.

И все же мама достала продолжение. Синий фолиант, с которого недобро смотрят два деревянных солдата, вооруженных сучковатыми дубинами, и хмурый столяр Урфин Джюс — «владыка, сапоги которого попирают Вселенную».

Я проваливаюсь в эту книгу, как Алиса (про которую я прочитаю позже) в кроличью нору, раз и навсегда. И в этой норе я могу отыскать все. Историю про мегаломана, которому судьба бросила в руки целую чудесную страну. Повесть про демиурга и мытарства вылепленных (то есть выструганных) им тварей. Эпопею об амбициях, предательстве, диктатуре армии и тайной полиции, революции и «перековке» прежнего мира.

Я рисую и раскрашиваю деревянных солдат. Стараюсь четко выговаривать «Гуамоколатокинт» (сварливый филин не любит, когда коверкают его имя). Пробую набивать опилками лежащую у деда в коридоре медвежью шкуру — чтобы у меня был свой Топотун.

Ни один из следующих томов Александра Волкова не произведет в моей жизни

такого объемного взрыва, как этот, не станет облаком оживляющего все вокруг волшебного порошка. Вторую часть истории про Урфина — «Огненного бога марранов» — я прочитаю только через несколько лет (до этого возможности взять хоть где-нибудь книгу не будет).

«Деревянные солдаты» останутся вершиной серии. Да что там серии...

Уже в шесть лет я попробую написать к ним (иллюстрированное) продолжение. Это будет моей первой попыткой сочинить свои собственные слова, составленные в предложения на бумаге. И с того момента, как это произойдет, все неостановимо покатится — прямо сюда, вот к этому самому воспоминанию.

Раздумывая над ним, я внезапно сообразил, что, быть может, «Урфин Джюс» направляет меня куда сильнее, чем я привык думать (а точнее, не думать). Недаром медвежья морда выглядывает едва ли не из каждого моего текста. А сюжет об оживленных игрушках — кровь и плоть романа «Кластер».

Я начинаю с удивлением оглядываться по сторонам: гуамоко, старина, скажешь, и ты тут? Гуамоколотокинт?!

Фигурка филина скептически смотрит в ответ из-под монитора.

Александр Иличевский, прозаик, поэт (г.Иерусалим, Израиль)

Три книги детства

1. Константин Сергиенко. «Кеес Адмирал Тюльпанов».

Когда я впервые увидел картины Брейгеля, они поразили прежде всего узнаванием: это были иллюстрации к «Адмиралу Тюльпанов», к книге, в которую я однажды в детстве провалился, как Алиса в кроличью нору. Лоскутные одеяла польдеров, дамбы, мельницы, каналы этой плоской страны, на которых зимой звенят коньки; дерзкий Кеес, сакральный тюльпан, единственный из цветов, в который можно и увлекательно глубоко заглянуть, осада Лейдена, восстание гезов, горбун Караколь с накладным горбом (потом мне казалось, что все горбуны прячут в горбах некие сокровища, тайну) — все это навсегда со мной, никакая реальность не сравнится с этой повестью по достоверности. Месяц назад я был поражен, узнав, что автор у этой книги действительно существовал и есть в Москве люди, которые его помнят. Оказывается, им написаны еще две повести. Расспрошу букинистов.

2. Ян Ларри. «Необыкновенные приключения Карики и Вали».

Хорошие книги всегда умножают воображение, а есть такие, что усиливают еще и зрение, делая его инструментом воображения. Благодаря Карику и Вале, спасшимся от шершня, стрекозы, муравьиного льва, паука-серебрянки и чудовищной медведки, я научился впоследствии никогда не забывать о том, что человеческая цивилизация не одинока во Вселенной. Мысль о том, что еще сорок миллионов лет назад пчелы, разговаривающие друг с другом при помощи запахов и танцев (Карл фон Фриш, Нобелевская премия, 1973 год), достигли воплощения коммунистической идеи, и что пользы от этого — всего-то бочки с медом и апитерапия, что муравьи, владея арифметикой, в захватнических войнах изощренней любых нацистов, — всегда отрезвляет от социальных фантазий. Замечал ли кто-нибудь, что «ламборджини», буравящая, как почву плотный от скорости воздух, своей формой напоминает медведку, с ее приземистостью, мощностью сведенных передних лап? С другой же стороны, есть совсем немного естественных способов визионерства, и пристальное внимание к «микромиру» — один из них. Мир солнечных прозрачных пчел и

хтоническое царство термитов — отличная натура для широкого спектра литературных ландшафтов — от фантастов до Юнгера.

3. Юрий Олеша. «Зависть».

Единственный роман, который на самом деле не роман и тем более не поэма, а стихотворение. Он столь же легко разбирается на строфы, сколь и невозможно выявить рецепт, согласно которому он из них составлен. «Зависть» написана солнечными зайчиками по теплым камням и стеклам окон старой и новой жизни. В романе прорва радостной телесности и пения, физического ощущения посеребренных капель на бархатистых стеблях вынутых из кувшина фиалок. И то, о чем он написан, — никогда не ясно, что только подстегивает к перечитыванию; так всегда происходит с хорошим стихотворением.

Михаил Кураев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Книга. Огурец. Гильгамеш

Умные люди говорят: то, что нельзя исправить, надо забыть. Да вот почему-то не получается. Впрочем, сам я этого запомнить и не смог бы, все-таки было человеку четыре года, не дала забыть мама. Ей показалась история смешной, даже умильной. Но это, надо думать, если со стороны посмотреть.

А со стороны это выглядело так.

Представьте себе улицу Социалистическую, где-то неподалеку от дома № 128. На улице — 1943 год. Город Череповец. Лето. Вторая половина.

В двухэтажном деревянном доме № 128 на первом этаже в комнате метров пятнадцать, а может быть, и четырнадцать, мамина сестра дала приют чудом вырвавшимся из Ленинграда мне, моему старшему брату и нашей маме. Кроме нас, троих эвакуированных, на момент нашего неожиданного вторжения зимой сорок второго года в этой комнате обитало ровно шесть человек: сама тетя Люся, ее муж дядя Коля, две дочери и два сына. Старшего Юру вскоре призвали в армию, стало чуть просторней. Олег, пятиклассник, младший сын тети Люси спал на сдвинутых стульях или на столе. Что делали тетя Люся и дядя Коля в Череповце? Да в ссылке жили. Хотя дядю Колю как участника Кронштадтского мятежа реабилитировали, но вернуться в Ленинград не позволили. Вот такое везенье! Ни до какого Барнаула, куда нам нужно было прибыть по эвакуационному предписанию, мы бы, конечно, не доехали, как и многие из нашего эшелона. Вот мама и решила сойти в Череповец.

При чем здесь книги? Да здесь в Череповце все и началось. То, что помню сам, так это журнал, как потом выяснилось — «Новый мир» времен советско-финской войны. Там даже рисованные картинки сопровождали в конце журнала остроумные стихи про Васю Тёркина, начавшего свою военную биографию как раз на финской войне. Читать не умел, но стихи запомнил: «Вид заманчивый трамплина привлекает белофинна...» Вася Тёркин на снежном склоне замаскировался под трамплин, вот белофинн и соблазнился не просто съехать с горки, а еще и подпрыгнуть. И только он на этот «трамплин» наехал, как Вася Тёркин вскочил и взял его в плен. Правда, здорово?! Такое не забудешь. Все остальное в этом журнале мама мне не читала. Читали то, что присылала сестра отца, оставшаяся в Ленинграде.

В Ленинграде во время блокады выходили детские книги!

Можно подумать, что это были такие демонстрационные акции вроде футбольного матча в осажденном городе. Это не так, если вспомнить, что в блокадном Ленинграде

защищали диссертации, проводили научные конференции, к примеру, в связи с пятисотлетним юбилеем Алишера Навои. В декабре сорок первого в лекционном зале Эрмитажа на торжественном заседании были прочитаны доклад «Мотивы древних восточных мифов в произведениях Навои» и новые переводы из Навои. Пораженного дистрофией переводчика в зал внесли на руках. Начавшийся артобстрел не прервал заседания.

Летом сорок третьего в Череповце была получена бандероль из Ленинграда с содой для мамы и великолепной раскладной книгой «Терем-теремок».

А дальше уже со слов мамы.

«Смотрю, во двор с улицы идет Михаил. Сияет. В руках — огурец. Большой, с ржавыми боками, семенник перезрелый... Мишенька, откуда это у тебя? Гордо объявляет: Выменял! Спрашиваю: На что же ты это чудо выменял? Радостно сообщает: На книгу!»

«Терем-теремок» в день его появления на Социалистической, 128 был мною выменян на большой огурец!

Натуральный обмен был стихией военного времени. Мама ходила в дальние деревни, чтобы что-то выменять на картошку, лук, репу, бутылку молока... Ближние деревни были избалованы «выковырянными».

Мое желание поддержать семью продовольствием никто не осудил, но коммерческие способности были высмеяны. Огурец оказался практически несъедобным. Да, не дал Бог счастья стать коммерсантом...

Зато следующую книгу, опять же присланную из Ленинграда в Череповец, и не раз прочитанную мне мамой, я не только выучил чуть не всю наизусть, но и хранил потом, как верующие хранят Библию. В блокированном городе не был убит дух интеллигентности. А это значит — люди не выживали, а жили. А жить — значит, думать о тех, кому еще предстоит стать ленинградцами. Книга Самуила Яковлевича Маршака «Сказки. Песни. Загадки» — художественная хрестоматия для детей, детей войны. Открывалась она маленькой поэмой «Почта военная». Пишу, как запомнил:

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это он, это он,
Ленинградский почтальон!
С ним мы встретились по-братски,
И узнал я с первых слов,
Что земляк мой ленинградский
Снова весел и здоров!
Уцелел со всем семейством,
Голод нынче позади,
И медаль с Адмиралтейством
На его горит груди...

У меня была мечта — собственно, почему была? — я мечтаю, чтобы первоклашкам в нашем многострадальном городе 1 сентября вручали именно эту книгу, переизданную буква в букву, в зеленой, как солдатская гимнастерка, обложке с чудесными картинками Конашевича, Пахомова, Лебедева. И нынче власти города готовы были осуществить эту идею, но, увы, юристы, опекающие наследство Маршака, зарубили затею на корню, что-то там посчитали, умножили, разделили, накричали на меня и наложили запрет.

Только со временем я оценил одну подробность в книге, вышедшей в Ленинграде во время блокады. Треть стихов о войне, все еще идущей, но ни одного упоминания ковавшего все победы генералиссимуса.

Это потом, в первом издании «Сына полка» в самом конце любимой с детства повести во сне Вани Солнцева появится Сталин, «осененный знаменами четырех

победоносных войн». Впрочем, генералиссимусу Суворову стишок и рисунок посвящены: «Бьёмся мы здорово, рубим отчаянно, Внуки Суворова, дети Чапаева!» А стихи о войне прекрасны! Я их читал по памяти год назад в Польше на встрече со школьниками. Полный успех. «Резвится молодой мороз —/ Морозец пятиградусный./ А на снегу, повесив нос,/ Стоит фашист безрадостный./ Трещат сороки. Снег пушист/ В лесу и на прогалинке./ — О чём задумался, фашист? —/ Спросил морозец маленький». А ещё «Баллада о пятнадцати»: «Конечно, Пятнадцать — Число небольшое,/ Но если пятнадцать ребят умеют сражаться,/ Как эти герои,/ Врагу они путь преградят». И про смоленскую школу: «Мне рассказывал смоленский/ Паренёк:/ — В нашей школе деревенской/ Шёл урок./ Проходили мы частицы/ "Не" и "ни". А в селе стояли фрицы/ В эти дни». Кроме прекрасных, на мой вкус, стихов о войне была поэма и о пожарнике Кузьме, «Теремок», «О неизвестном герое», «Дрался Гришка с Мишкой»... «Мельник, мальчик и осёл», «Собирались лодыри/ На урок,/ А попали лодыри/ На каток». А ещё английские, шотландские сказки и баллады... Остановлюсь! И Самуилу Яковлевичу, и всем, кто эту книгу дал нам, когда и хлеба не хватало, низкий поклон.

В сорок четвертом году отец приехал из прифронтовой Кандалакши в Череповец по временной ветке через Обозерскую, огибавшей занятый немцами Петрозаводск, и увез нас с собой.

Мы поселились в какой-то брошенной избушке на узком пространстве между забором завода № 310 и лесобиржей на берегу Кандалакшского залива. Мебели не помню, но «сервиз» из хорошо обстуканных, чтобы не порезаться, консервных банок помню. И чайный, и столовый. К кухне примыкала узкая холодная комнатка, чулан с оконцем. Там стоял большущий фанерный ящик, пустой. Пустая комнатка, пустой ящик. Это была моя единственная игрушка, если не считать плюшевого Мишку, вывезенного мамой из блокадного города вместе с нами. В хорошем ящике, даже пустом, можно без скуки провести час-другой, пока отец на работе, мама в магазинном промысле, а старший брат, важный, как академик, в первом классе. Если бы умел к тому времени писать, я бы мог написать инструкцию, как превратить ящик в грозный блиндаж, надежное бомбоубежище, танк, паровоз и даже бомбардировщик, если ваши руки так же похожи на крылья, как и мои, а вместо сердца, естественно, пламенный мотор. И вдруг я нашел книгу. Справочник «Hutte», это размером с полбуханки хлеба в зеленой обложке подручная энциклопедия инженера с бесчисленными логарифмическими таблицами, разделами по сопротивлению материалов, пособие по расчету конструкций и все в таком духе. Чудесная книга! Читать ее нужно только в фанерном ящике, и когда никого нет дома. Дело интимное. Чтение состояло из перелистывания страниц в сопровождении какой-то моей тарабарщины. Никаких толковых сюжетов за цифрами, формулами и логарифмами не просматривалось. Книгу отец вскоре унес, на работе была, надо думать, нужней. Но тут же появилась новая книга, не совсем новая, но для меня новая: «История Древнего Востока» проф. Струве, как было обозначено на обложке цвета, надо думать, песков египетской пустыни. Книга вышла в тридцать девятом году, так что мы в каком-то смысле даже ровесники. Нет, это вам не логарифмическая заумь, где цифр больше, чем букв. Здесь были даже картинки. И пирамиды, и долины, и разные фигуры плоских египтян, словно они маршируют, выйдя из-под утюга. С этой публикой уже можно было разговаривать! «Куда идёте, беспорочные?» И через десяток страниц можно было узнать, куда они шли, выпростав перед собой руки с цветком или жезлом. Книга толстая, картинок много. Но вдруг я напарываюсь на стихи, недлинным столбиком разрывающие сплошной текст страницы. Я смотрю на первую строчку и понимаю, что там написано: «Скажи мне, друг мой,/ Скажи мне закон земли, который ты знаешь...» Я даже не понял — я читаю! Читаю! Наверное, такое же чувство испытывает птенец, вывалившийся из гнезда, но не шмякнувшийся о землю, а раскинувшийся от страха

крылышки... и полетевший! Я — читаю! Да. Это был первый самостоятельный вылет, без инструктора и парашюта! И куда я залетел? В эпос о Гильгамеше. Для начала неплохо. Лечу дальше: «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу! Что же? Пусть же сяду я и заплачу! Скажи мне закон земли, который ты знаешь...». Запомнил от удивления сразу и на всю жизнь, не только это, но и дальше. Избыток нового знания не умещался во мне, распирал, рвался наружу. От нетерпения я вышел встречать своего брата-академика, возвращавшегося из школы № 1, служившей с сорок первого года до лета сорок четвертого военным госпиталем. Брат, переполненный преумноженными в этот день знаниями и важностью своего старшинства, не придал значения моему появлению на тропинке у заводского забора. Но я встал перед ним, преградив дорогу, встал, как настоящий египтянин, только что в пальто и зимней шапке, выкинул вперед руку с вывернутой вверх ладонью, как у нас в Египте полагается, и обратился к преуспевшему в науках и самоуважении брату: «Скажи мне, друг мой, скажи мне закон земли, который ты знаешь!..» Похоже, что классная руководительница первоклашек учительница Жарова, средоточие всей земной мудрости, еще не посвятила своих подопечных в «закон земли», который она, конечно, знала. Брат не промах, когда он не знает ответа, он умеет опрокинуть собеседника встречным вопросом: «А ты че, сам-то знаешь? Вот и скажи». Но ответ у меня был готов: «Не скажу я тебе, друг мой, не скажу я закон земли, который я знаю, а то сядешь ты и заплачешь...» «Где это ты наблатыкался?» — строго поинтересовался брат. «Академик Струве», — скромно признался я, повысив своего нового знакомого из «проф.», указанного на обложке, до академика, наверное, чтобы подравнять к старшему брату.

Проф. Струве стал близким мне человеком, скрашивавшим мой вынужденный досуг. Я начал читать подписи под картинками, а потом и синий штамп на шмуцтитуле книги: «Парткабинет Кандалакшского Горкома ВКП(б)».

Но вот во всю оставшуюся жизнь я так и не удосужился спросить у отца, зачем это ему осенью сорок четвертого года, когда готовился Десятый удар, освободивший Заполярье, последний Удар, из выбивших немецко-фашистских захватчиков с советской земли, зачем ему в пору напряжения и горячки на транспорте, за который он отвечал, понадобилась «История Древнего Востока».

А цинично, по-торгашески, мелкобуржуазно преданный «Терем-теремок», непрочитанным уплывший в чужие руки, ты уж меня прости неразумного, но бывшее, как сказано в одной мудрой книге, даже богам не дано сделать не бывшим.

Владимир Медведев, прозаик, публицист (г.Москва)

Зов с Востока

Мне было четыре года, когда произошли два события. Во-первых, мои родители с озера Кенон в Забайкалье, где они работали на радиостанции и где я родился, переехали в Таджикистан, на радиостанцию в городе Сталинабаде, ныне Душанбе. Во-вторых, мама начала учить меня читать. Оба эти внешние события сформировали меня таким, каков я есть, и проложили русло, по которому шла и по сей день идет моя жизнь.

При первой встрече с Таджикистаном на меня обрушился мощный сенсорный шквал. Двухнедельное путешествие на поезде — от Читы до Москвы, а затем от Москвы до Сталинабада — отчасти приучило к смене впечатлений, но здесь, в конечном пункте, все было абсолютно новым и непривычным. Воздух, особое тепло, запахи, вкусы, звуки, ощущения...

Помню первое утро на новом месте. В окно бьет непривычно яркое солнце, из радиоточки в соседней комнате доносятся странные, неблагозвучные ритмы, мало похожие на музыку, а визгливая певица выводит на непонятном языке совершенно несуразную, по тогдашнему моему понятию, мелодию (в детстве мы пренебрежительно называли таджикские народные песни «тум-балаки-тум», лишь позже я понял, оценил и полюбил их).

А затем что ни день, то новые открытия: непередаваемый вкус винограда; журчание воды в арыке, пересекающем двор двухэтажного дома для спецов, в котором мы жили; незнакомая речь и крики бродячих точильщиков: «Ножи, ножницы то-о-о-о-чи-и-м!» и бродячих старьевщиков: «Стары вещи бере-е-е-м!»; теплая пыль, в которую ноги погружаются по щиколотку; бронзовые жуки, летающие в летних сумерках... Перечислять можно до бесконечности.

По вечерам открывался совсем иной мир. Наша семья собиралась вчетвером вокруг стола, родители читали нам с сестрой вслух. Вначале, конечно, сказки. Одну другой страшнее. Старик отрубил медведю ногу и принес ее домой. Медведь соорудил себе липовую ногу, а когда настала ночь, поковылял к обидчику, приговаривая: «Скирли-скирли, липовая нога... Старик варит мое мясо, старуха прядет мою шерсть». Чем закончилось, не помню. Не дослушал, сбежал... Очень уж жуткой была медвежья приговорка. Или еще: солдат просится к мужику на ночлег. И вот лежат они ночью на полатах, солдат будит мужика и спрашивает: «А знаешь, кто я?..» Он еще не закончил, но я уже заранее чувствую, что дело идет к чему-то нехорошему, встаю и начинаю медленно продвигаться к двери. Родители понимающе улыбаются — не в первый раз. Мне не до смеха. Признание солдата: «Я ведь медведь» — настигает меня на пороге. Жуть! Конца сказки не помню. Запоминается самое страшное, а ужасное перевоплощение — это кульминация, предел, страшнее уже быть не может...

Вслед за сказками пошла русская классика. Мама читала нам «Руслана и Людмилу», «Сказку о золотом петушке», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Конька-Горбунка»... Отец — «Генерала Топтыгина», «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо»... Как теперь понимаю, родители исподволь воспитывали у нас чувство национальной идентичности. Не сознавая того, я всем существом впитывал из чистейших образцов русский язык, его дух, его богатство и своеобразие.

Примечательно, что сам язык при восприятии на слух как бы исчезал, растворялся, поскольку напрямую конвертировался в образы, возникавшие в моем воображении. Ощутимым он сделался, когда я начал учиться читать. Слова, попадая на книжную страницу, будто сгущались, становились плотными, приобретали дополнительные смыслы, и каждое из них вызывало особое, неповторимое, но неуловимое чувство, которое так же невозможно описать, как запах или вкус. В словах, казалось, проявлялись невидимые прежде измерения.

Как ни странно, совсем не помню первые книги, которые прочитал самостоятельно, за исключением «Что я видел» Бориса Житкова. Зато в память врезалось общее впечатление словесного великолепия, которое вызывали диктанты и упражнения по русскому языку в начальных классах. Что может быть неприятнее диктанта и скучнее домашнего задания! Но унылые мертвые страницы учебников нередко освещали живым светом короткие отрывки и отдельные фразы из книг Толстого, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Пушкина, Чехова... Сверкающие голографические осколки великорусского языка. А среднерусские пейзажи на обложках «Родной речи» ежедневно напоминали о далекой России, которая была для меня, скорее, идеальным образом, архетипом, нежели реально существующей землей, а оттого особенно притягательной.

В материальной же действительности Сталинабад со всех сторон окружали горные вершины; по городу проходили порой караваны верблюдов (последний я видел году в 60-м); на базаре можно было встретить дервиша с чашей для подаяния,

изготовленной из половинки кокоса; по мостовой, выложенной из булыжника, катили «файтуны» — конные пролетки, стоянка которых располагалась напротив универсама «Люкс» неподалеку от нашего дома; по улицам, хоть и редко, еще проходили, как черные безликие изваяния с холста Джорджо де Кирико, женщины в парандже и чачване — сетке из конского волоса, закрывающей лицо; еще можно было наблюдать буколическую картинку — деревенского старика, который присел по нужде на краю тротуара, накрывшись с головой полами халата... Словом, тысяча и одна ночь.

И потому, когда мой друг Рафик Матаев, который жил в глинобитном еврейском квартале рядом с нашим домом, рассказал, что побывал у разбойников, которые обитают в пещере с сокровищами, на берегу Дюшанбинки, я ему безоговорочно поверил. Он и меня обещал к ним сводить. Было не очень понятно, с какой стати разбойники привечают маленького мальчишку, но в том, что они живут совсем рядом, сомнений не имелось. Правда, когда мы пришли на речку, Рафик пещеру так и не нашел.

Виртуальная Россия и восточная сказка, окружавшая меня в реальности, существовали каждая сама не себе, никак не пересекаясь. Вместе с русской литературой, правда, с опозданием более чем на сто лет, я пережил увлечение романтизмом — Пушкиным, Гоголем, балладами в переводах Жуковского, затем Гофманом, позже настала очередь Вальтера Скотта, Майна Рида, Виктора Гюго и далее со всеми остановками. Однако западная литература не создала нового пространства, а лишь расширила область русского. Одновременно мои товарищи — таджики, узбеки, бухарские евреи — помогали лучше понять своеобразие местной жизни. Обе изолированные области постепенно расширялись.

Объединил их уже позже, несколько лет спустя, Редьярд Киплинг. Его стихи, баллады, «Простые рассказы с гор», роман «Ким» перетряхнули разрозненные части моей карты мира и уложили их в стройную картину. Есенинские березки перемешались с низкорослыми корявыми деревцами из знаменитой «березовой рощи» на горном озере Искандер-куль. Киплинг открыл мне и объяснил прежде скрытую, неосознаваемую мою любовь к Таджикистану. Его книги стали чем-то вроде азбуки, учившей сознательному усвоению чужой культуры.

Но знал ли сам Киплинг реальную, а не ту декоративную, почти оперную страну, которую живописал в своих сочинениях? Знакомиться с подлинной Индией по его книгам так же нелепо, как изучать животный мир тропического леса по «Книге джунглей». Секрет обаяния Киплинга в том, что он — писатель для юношества, для подростков, которых учит оставаться верными своей культуре, приобщаясь при этом к чужой. Вряд ли найдется другой литератор, который был бы так искренне влюблен в Азию и так ярко и заразительно выразил бы свое чувство, будучи британцем до мозга костей.

Не представляю, каким бы я стал, если б судьба в детстве забросила меня в иные края. Полюбил бы я Киплинга, живя в Прибалтике или Молдавии? Но мне повезло, и понимаю его с полуслова, пусть даже в несовершенном переводе:

В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков:
«Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов».

Именно об этом рассказывает Редьярд Киплинг в каждой написанной им книге, — о Зове с Востока. Я полностью согласен с кредо, которое он формулирует в рассказе «Саис мисс Йол», когда говорит от имени рассказчика, то есть от себя лично: погружение в жизнь местных народов — самое увлекательное из всех занятий на свете, не исключая и любви.

Насчет любви он, возможно, погорячился, а все остальное абсолютно верно.

*Ольга Погодина-Кузмина, писатель, сценарист
(г. Санкт-Петербург)*

Другое измерение

В моей семье любили чтение, выписывали журналы и газеты, охотились за новинками. Мне повезло и в том, что моя родная тетя Галя работала заведующей районной библиотекой. Так что круг моего чтения был весьма прогрессивным для советского подростка 70-80 годов. Первой книгой, которую я прочла самостоятельно, без помощи взрослых, стала «Алиса в стране чудес». Помню, это была довольно большая красивая книжка, тетя принесла ее из библиотеки, и через две недели ее нужно было отдать обратно. Меня заинтересовали загадочные иллюстрации — кролик в цилиндре, птица Дронт, безумный Шляпник и странное чаепитие. Я приставала к взрослым с просьбой прочесть, рассказать мне, в чем же там дело. А мне ответили — ты же сама уже умеешь читать, вот и прочти. Для ребенка 6-7 лет самостоятельное чтение — труд, механическое усилие. «А-ли-са от-вори-ла двер-цу: там был вход в у-зень-кий коридор, чуть по-шире крыси-ного лаза. Она встала на колен-ки, заглянула в отверстие — и ахнула: коридор выходил в такой чудесный сад, каких вы, может быть, и не видывали». Я отчетливо помню, как взялась за книгу, водя линейкой по строчкам — и вдруг произошло чудо. Буквы начали складываться в слоги, слоги в слова, слова в предложения. А предложения начали оживать, обретать смысл и красоту. Английский пастор и философ Льюис Кэррол запустил в моей голове тот механизм удовольствия, которое доставляет нам работа воображения — и с этого момента я стала запойным читателем. Спасибо тете и библиотеке — ко мне попадали все новинки советского книгоиздательства. Эпопея Волкова «Волшебник изумрудного города», «Сказки дядюшки Римуса» Чандлера, история Муми-троллей Туве Янсен и «Пикник на обочине» Стругацких. Конечно, были у меня и собственные книги — я любила перечитывать прекрасно изданный сборник сказок Гауфа, классическое издание «Тысячи и одной ночи», и до сих пор заглядываю в желтый двухтомник Андерсена, подаренный бабушкой и дедушкой. Есть важная, мало исследованная тема для социологов, психологов и писателей, которые отчасти совмещают функции первых и вторых. Советский человек, формально живший за железным занавесом, на самом деле был глубоко погружен в контекст мировой культуры именно через книги. Вспомним замечательные переводы лучших американских, европейских, японских авторов; журналы «Дружба народов» и «Иностранная литература»; книжную серию «Сказки народов мира». В них публиковались с любовью подобранные и переведенные истории, раскрывающие характер, быт, образ жизни людей в других странах. Вспомним, какое внимание уделялось изданию национальных эпосов народов, населявших нашу огромную страну. «Нарты», «Калевала», «Шахнаме», античный цикл об аргонавтах... Благодаря книгам и советской школе с углубленным изучением английского языка я и сегодня в общении с европейцами нередко чувствую себя большим европейцем, чем они сами. Общаясь с коллегами в писательских резиденциях, понимаешь, что русский человек в среднем гораздо лучше образован, шире смотрит на многие вещи и куда лучше знаком с культурой других стран, чем это принято, например, в Западной Европе. Конечно, времена меняются. Увидев сегодняшнее книжное разнообразие, включая издания для подростков, человек из советского времени решил бы, что попал в другое измерение. Собственно, так и есть. Нынешние детские книги великолепно оформлены визуально, по страницам их бродят чуть ли не живые динозавры, средневековые рыцари и космические пришельцы. Но мне все же кажется, что «подпирая» текст эффектными картинками словно костылями, мы теряем основу

самой магии чтения. Эту важнейшую способность мозга конструировать воображаемую реальность из простых черных букв на белой странице. Литература, построенная на тысячелетнем фундаменте человеческого речи — уникальный феномен, проявление духа через усилие разума. Вначале было слово. Слово породило мысль. А мысль породила книгу.

*Николай Подосокорский, литературовед, медиаэксперт,
блогер (г. Великий Новгород)*

Юность Тэмуджина

В моем детстве, выпавшем на вторую половину восьмидесятых — девяностые годы и проведенном в небольшом рабочем поселке Новгородской области, я был ограничен в выборе книг для чтения. Сравнительно небольшая родительская библиотека состояла в значительной степени из случайно собранных книг и тех собраний сочинений, которые можно было достать по подписке в период дефицита, но кое-что интересное для меня в ней все же порой находилось. В частности, мне нравились советские исторические романы об отношениях Орды и Руси, особенно трилогия Василия Яна «Нашествие монголов», из которой ребенком я, правда, прочел лишь две последних части — «Батый» и «К последнему морю» — зато по многу раз. Первой же части (про Чингисхана), у нас не было, и так получилось, что ее мне заменил роман Исая Калашникова «Жестокий век».

Глядя на увесистый красный кирпич (из тиража 1991 года в 200 тысяч экземпляров, наверное, можно было бы сложить большой дом) с не самым располагающим названием и лишенный каких бы то ни было иллюстраций, я сперва не ожидал, что он может стать подходящей мне пищей для сердца и ума. Но стоило его однажды открыть и заглянуть в эту непривлекательную внешне книгу, как я уже не смог от нее оторваться и прочел более семисот страниц за несколько дней. Помню ощущение необычайной легкости, свободы и какого-то поистине степного простора от чтения про юность и становление Тэмуджина, больше известного как Чингисхан, создатель одного из крупнейших государств в истории человечества (на пике своего могущества Монгольская империя, как известно, уступала по территории лишь Британской).

Я бы не назвал Калашникова крупным писателем и тем более классиком, хотя в родной Бурятии его вроде бы ценят весьма высоко, но лично для меня эта книга стала одним из ключевых романов воспитания — тем, чем для следующего поколения, возможно, стал «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. Никакого колдовства и мистики в мире Калашникова, конечно, не было, но зато присутствовала особая магия человеческих отношений (дружба, перерастающая в непримиримую вражду, и, наоборот, вражда, оборачивающаяся в итоге крепкой дружбой), раскрывалось величие личности, преодолевающей самые трудные и невыносимые жизненные обстоятельства и способной объединить вокруг себя целые народы. Это сильно действовало на подростковое воображение.

Уже во взрослом возрасте я перечитал этот роман еще раз и с удивлением обнаружил почти тот же самый эффект, что и в детстве. Книга оказалась столь же близкой и вновь читалась на одном дыхании, но рассказать, в чем именно заключается ее прелесть, не так уж легко. Сюжет «Жестокое века» не то чтобы очень уж оригинален, диалоги незамысловаты, да и написано это через несколько десятилетий после гораздо более известного романа того же Яна. А вместе с тем к Яну я больше

не возвращался, зато книга Калашникова и в детстве, и в юности, и позднее неизменно затрагивала какие-то потаенные струны моей души и упорно не давала себя забыть. Кстати, отчасти, возможно, благодаря ей я в студенчестве увлекся трудами Льва Николаевича Гумилева о Великой степи и азиатских кочевниках «с раскосыми и жадными очами». Среди историков довольно распространено презрительное отношение к его сочинениям, но для меня они стали своего рода продолжением исторической беллетристики Яна и Калашникова, точно так же показывающим пресловутых «татаро-монголов» с человеческой и даже симпатичной стороны.

Сейчас, когда моя домашняя библиотека насчитывает около двух с половиной тысяч томов (не считая терабайта электронных изданий), «Жестокий век» — одна из нескольких книг, которые я взял из родительского дома и сохранил как память о детстве.

Ольга Славникова, прозаик (г. Москва)

Гоголем по голове

Часто литературные воспоминания о детстве напоминают игру сорокалетней тетеньки-травести, изображающей на сцене ТЮЗа резвого пацана. Здесь я постараюсь быть предельно достоверной и честной. Речь пойдет о бабушкином книжном шкафе.

Он был, по моим тогдашним представлениям, огромен и напоминал сказочный дворец. Резные колонны, медальоны на дверцах, которые вернее было бы назвать воротами, могучий гребень на крыше, из которого, из самой гущи резных курчавин, на меня смотрела щекастая голова арапа — дразнила высунутым, покрытым пылью, языком.

Этот шкаф был целый мир. Внизу, за изукрашенными створами, имелся и мой угол — ряд книжек в полметра длиной. Там стояли приличествующие возрасту «Волшебник Изумрудного города», «Золотой ключик», «Русские народные сказки» с иллюстрациями в цветах веселенького ситчика. Остальное пространство глубоченных полок было занято неинтересным: много всего о вкусной и здоровой пище, стопы бархатных и кожаных фотоальбомов, связки журналов. А вот на верхних этажах, за играющими радугой фигурными стеклами, таились сокровища. Брать их не то чтобы запрещалось — все запреты моего детства были подразумеваемыми, — но негласно не одобрялось. Застекленные створы были заперты, что служило сигналом. Однако же ключ всегда висел из скважины, будто папироса с губы. Это, собственно, решило дело.

Добывала я взрослые книги так. Взяла специальную высокую табуретку, на которой моя крошечная бабушка расчесывала свои огромные косы (волны седины доставали до пола, а тапочки не доставали). Затем взяла мухобойку с длинной ручкой. С первого раза расшатать тугие кирпичи не получилось. Потом они стали вываливаться блоками и падать на пол с грохотом и плеском. Пришлось принести подушки, на них долговязая табуретка гарцевала. В результате синенький, небольшой, но весомый томик Гоголя рассек мне углом переплета кожу на лбу.

Именно в этом томе оказалось главное, что я прочла во время тех упоительных книжных каникул между первым и вторым классом. Уже знакомая с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», я сперва подумала, что «Мертвые души» тоже про покойников. Как передать свое тогдашнее восприятие поэмы? Это была текучая алхимия, слово на моих глазах превращало одно в другое: нарядных дам — в сахар, фразных кавалеров — в мух. Тогда впервые возникло ощущение, что я откуда-то знаю, как это делается.

Ну и, конечно, профессор Челленджер у Конан-Дойля оказался куда круче Карабаса-Барабаса, а «Собор Парижской Богоматери» про красавицу и чудовище совершенно затмил «Аленький цветочек».

Помимо толщи текста, в томах обнаружились странные закладки. Мягкие бумаги, как бы тряпочные, как бы слегка промасленные, вертикальными кудрявыми узорами сходные со шкафом, в котором они таились. На них на всех было написано: «Государственный казначейский билет. Пять рублей». Но это были не пять рублей. На настоящих, голубых, горизонтальных, изображалась башня Кремля, такие держали в кошельках и платили ими в магазинах. И все-таки была в этих бумагах пугающая достоверность. Больше всего их обнаружилось в Мопассане, нашлись они и в Гоголе, и в мрамористом Толстом. Я так и не узнала, кто наплатил деньгами библиотеку и почему он ими не воспользовался. В истории всех семей много скрытого. Позже, в девяностые, когда российские деньги мутировали, как мухи-дрозофилы, у меня на руках тоже остались десятитысячные, маргариновой желтизной напоминающие советский рубль, он же «рванный».

Но вернемся к шкафу. Москва, наши дни. Мы с мужем, поэтом Виталием Пухановым, зашли в антикварный присмотреть люстру. Вдруг в глубине магазина, за углами и горбами заскорузлой мебели, я увидела родное. Это был он, шкаф. Шкаф был руиной. Дверцы шатались, резьба казалась обкусанной, и из него пахло погребом. Но мы его купили, конечно. Я даже представить не могла, что когда-нибудь мне выпадет такое счастье: вот он, книжный дворец, весь мой, я его заполню, чем захочу.

Теперь, отреставрированный, шкаф стоит в моем кабинете. Не тот же самый, не бабушкин, конечно, такое совпадение грешило бы против законов жизни и прозы. Мелкие отличия — более темный цвет панелей, простоватые шишки вместо медных кружевных ручек на ящиках — появились либо после хирургических восстановлений, либо вследствие аберрации памяти. Но главное вот что: шкаф оказался вовсе не громадным. Он не вместил и трети книг, которые я хотела бы в нем держать. Но тяжеленькие томики Гоголя (один во время переездов потерялся) — синеют на своем законном месте, на второй сверху полке, в первом ряду.

Ганна Шевченко

Осень — колотая рана

* * *

В краях, где не смеркается луна,
где водятся холмистые ландшафты,
я инженером горным создана,
чтоб воспевать убыточные шахты.

Я помню, как выюрок по вечерам
над дедушкиной хатой разрывался,
сиял сарай — величественный храм —
и слышалась любовь в курином глазе.

А до изобретения числа,
до спуска в человеческое тело,
драконом нарисованным была,
над кряжами донецкими летела.

Весенний свет — тюльпаны и ковыль —
осенний ветер — сломанный подсолнух —
я корабли сплетала из травы,
и отпускала плыть в радиоволнах.

Душа моя, большой метеорит,
видение в туманностях аргона,
лети на свет, пока ещё горит
звезда ночей во лбу у коногона.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась в городе Енакиеве (Украина). По образованию финансист. Автор трех сборников стихов, в том числе «Обитатель перекрёстка» (М., 2015), «Форточка, ветер» (М., 2017), и книг прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018) и др. Лауреат Международного конкурса им. Фазиля Искандера (2017). Живет в Подмосковье.

* * *

В тупиковом проулке, за будками,
где кустарники наперечёт,
приукрасив себя незабудками,
моментальное время течёт.

Было, помнится: шум, революция,
веселились рабочих полки,
а сегодня свою Конституцию
исправляем движеньем руки.

И Земля, словно та каракатица,
утром с окриками петухов
уплывёт. Ничего не останется,
ни рассказов, ни пьес, ни стихов.

Вот уж облака, солнцем гружёного,
не заметен трагический сгиб,
только звёзды Андрея Платонова
светят так, что не видно ни зги.

* * *

Посмотреть на клён с балкона,
черепахе бросить корма
я спешу, минута — это
исчезающая форма.

Так вот встанешь в тихом доме
светом утренним залитом,
и поймёшь, что всё минуло,
что исчерпаны лимиты.

Пели иволги, а после
улетела в небо стая,
жил старик, но летом умер,
снег лежал, потом растаял.

Даже облако из пыли
постепенно стало солнцем —
всё когда-нибудь исчезнет,
всё когда-нибудь вернётся.

И костры средневековья,
и реформы вольтерьянства
растворились, время — это
обнулённое пространство.

* * *

Покуда солнце в форточке горит,
о чём молчать мечтательной натуре?
Я научилась с ветром говорить
о личности в большой литературе.

Откроешь лес — увидишь сериал,
и автора на ветке — паучиху,
Как тетерев Каренина сыграл!
Как Анна воплотилась в облепиху!

А ягоды трагических кустов!
А линия черёмух-королевен!
А яблони устойчивых сортов —
Улицкая, Сорокин и Пелевин!

Горчичный свет польётся с высоты,
деревья онемеют, станут голы,
и полетят, как жёлтые листья,
причастия, союзы и глаголы.

* * *

Дни не размножаются в неволе,
только лишь становятся сутулей,
а вчерашний день упал за поле,
словно сняли снайперскою пулей.

Утром за окном явился новый,
подвывая мусорной машиной,
томный, нерабочий, бестолковый,
с постной и подвыпившею миной.

Он такой же точно, как вчерашний,
будто нарисован под копирку —
будем на своей балконной башне
трепетать от птичьих перечирков.

Но уже, непасмурный и броский,
взят всевышним снайпером на мушку.
Посмотри, как в небе светит Бродский —
солнце в рыжеватых конопушках.

* * *

Весь этот шум — ненужная возня
в минуту выпадения росы,
однажды я услышу среди дня,
как шелестят песочные часы.

Грядущее закуплено в кредит,
будильник заведён, как автомат —
мы научились в космос выходить,
но разучились сказки понимать.

Когда-нибудь в журнале «Этажи»
напишет независимый эксперт,
что золотая рыбка — это жизнь,
а шапка-невидимка — это смерть.

И вот тогда я маятник качну
и приготовлюсь медленно ко сну,
и, шапку-невидимку натянув,
песочные часы переверну.

* * *

А соловьи стараются без толка —
весенний город, холоден и пуст,
закрыты заведения, и только
под сквозняками вздрагивает куст.

Идёт от солнца луч-гипотенуза
и вот уже он высветлить готов
конструкции Советского Союза
весёленьких собянинских цветов.

Вдоль трассы пять рабочих общежитий
рассветы держат шиферным хребтом.
На фоне исторических событий
я выгляжу беспомощным кустом.

Не хочешь, а проскакивают строфы,
материя цепляет, как репей —
в условиях глобальной катастрофы
что может быть никчемней и глупей.

Рождаешься прозрачной и безликой
и сочиняешь медленно потом
ту сказку, где была бы земляницей,
летающей птицей, розовым кустом.

Борис Минаев

Площадь Борьбы

Роман

На этих кладбищах было похоронено столько безызвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь, на много саженей...

Константин Симонов

Зайтаг

Светлана Ивановна Зайтаг, библиотекарь, перестала спать в 1930 году, в июне.

Это не было связано с ее личной жизнью, с жизнью страны, с каким-то особым событием или неприятным происшествием, или вообще с чем-то психиатрическим.

Как потом выяснилось, была у нее такая болезнь, воспаление нервных окончаний где-то в каком-то отделе ее головы, не ведущее ни к каким другим последствиям, кроме одного — у нее пропал сон.

Она пролежала ночь, думая о Лёшеньке, о его будущем и глядя в светлое июньское окно (ночи в это время в Москве очень короткие). Наверное, бессонница возникла в связи с его отъездом на дачу вместе с «группой». Такие «группы», поскольку детских садов не хватало, устраивали интеллигентные московские женщины, устраивали сами — и в городе, и летом за городом... Предполагалось, что их маленькая «группа» должна летом выехать и жить в поселке Кратово. Что-то вроде частного детского садика.

Совместно нанимали воспитательниц, желательно из «бывших» (Светлана Ивановна и сама могла бы стать такой воспитательницей, поскольку считала себя «бывшей», но тщательно это скрывала), то есть тех, которые могли учить французскому, например, или немецкому, прививать манеры, да и обладать неким общим пониманием, как жизнь устроена, — в этом смысле нянькам из деревни вполне довериться было нельзя.

Минаев Борис Дорианович — журналист, писатель, издатель. Родился в 1959 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ (1981). Автор книг прозы «Детство Лёвы» (2001), «Гений дзюдо» (2005), «Мужской день» (2009), «Мягкая ткань. Батист» (2015), «Мягкая ткань. Сукно» (2016), «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» (2018). Живет в Москве.

В «ДН» ведет театральную рубрику «Правила игры».

Журнальный вариант.

И вот Светлана Ивановна всю ночь думала о том, не договориться ли ей и не поехать ли в Кратово вместе с Лёшенькой. Библиотека в июле закрывалась на несколько санитарных недель, все как-то удачно складывалось... И вот так она пролежала до утра, не смыкая глаз.

Встала разбитая, злясь на себя — ведь можно же было накапать капли или, в конце концов, попарить ноги, ну что-то такое, теперь весь день пойдет насмарку, но утром она как-то пришла в себя, сварила яйца и кашу, отвела Лёшеньку в ту самую «группу», в дом на Минаевском тупике, где проживала их бонна, Маргарита Васильевна Шнауп, у которой муж когда-то служил по жандармерии, но об этом все давно забыли, муж пропал, а она осталась, все уважали ее благородную внешность и умение одеваться, а самое главное — умение понимать жизнь; выезд в Кратово ее волновал так же, как и Светлану Ивановну, и всех других мам; Зайтаг долго стояла в прихожей, сняв с Лёшеньки пальто и держа его в руках, и долго с Маргаритой Васильевной говорила об этом — и то, что ночью ей виделось в каком-то тревожном, даже истерическом свете: вот Лёшенька один, в темной комнате, все его бросили, все ушли жрать и пить, а он один лежит больной, с температурой, и плачет — все это утром сразу стало смешным. Обсуждались со Шнауп и другими мамами очень важные, даже оптимистические, научно-гигиенические детали: как дети поздоровеют на деревенском молоке и твороге, будут *ходить босиком* (а это очень важно), что рацион их будет составлен по точным врачебным рекомендациям (бонна советовалась с педиатром)... Словом, Светлана Ивановна ушла от Шнауп успокоенная и медленно побрела в библиотеку, надеясь сегодня лечь пораньше и выспаться как следует.

Но выспаться ей не удалось.

Светлана Ивановна действительно легла пораньше, выпила горячего молока, начала считать верблюдов, но, досчитав до тысячи, легко встала и выглянула в окно.

Тихий рассеянный свет шел из июньского сада.

Она накинула шаль и, ощутив какую-то странную эйфорию, спустилась с крыльца в сад в ночной рубашке и в тапочках. В доме все, слава богу, спали, и она добрела до забора, посидела на скамейке, покурила. Летняя ночь была перед ней, и она подумала, что, может быть, и не стоит даже спать в такие ночи.

Открыла книгу, ей казалось, что она задремала, но около шести утра по улице прошли первые молочники, и она вдруг подхватила и принялась готовить завтрак.

Молочник Кузьма приходил всегда в семь, и вот она решила, что, когда он придет и принесет свежий творог и сметану, она уже попьет кофе, поджарит на сковородке горячий хлеб и будет опять читать книгу, ожидая его.

Примерно за пятнадцать минут до прихода Кузьмы Зайтаг почувствовала легкое покалывание в висках и раздражение, которое увеличивалось с каждой секундой. *Зачем* она встала так рано? Что она будет делать дальше, как ей усмирить свой организм?

Она буркнула Кузьме что-то невнятное, сунула ему деньги, он ушел, недоумевая, она же с отвращением разжевала ложку творога и расплакалась.

Болело все тело. Все валилось из рук, и уже следующую ночь Светлана Ивановна ждала с замиранием сердца.

Пролежав всю эту третью ночь в тоске и страхе, затравленно глядя в потолок и повторяя про себя, что она не боится, не боится, не боится, утром Светлана Ивановна поняла, что должна все же сходить к врачу. Потом она провела без сна еще одну ночь и наконец решилась.

Одного частного врача она хорошо знала лично. Это был женский врач Кауфман, он жил недалеко, на Площади Борьбы, в высоком кооперативном доме, который гордо возвышался над садом Туберкулезного института.

Рано утром она робко позвонила в дверь, и он принял ее.

Кауфмана она посещала к тому времени уже лет шесть и посещала регулярно, раз в полгода, испытывая зудящий страх перед женскими болезнями, но в любом случае общаться с доктором было всегда приятно — он обладал как будто бы *излучением*, то есть, не говоря ничего особенного, он вливал в Светлану Ивановну заряд покоя и даже радости, наверное, это было из-за его глаз, больших и темных, которые всегда смотрели с библейской мудростью и прямоотой, а вообще-то он был смешной, рассеянный, немного наивный, и она всегда приходила к нему без всякого страха, а наоборот, с надеждой. Он выслушал ее спокойно и сказал: дорогая Светлана Ивановна, это бывает, надо пить успокоительные капли, гулять, пить молоко с медом, нет, не пробовали?

Тогда она, пытаясь не рассердиться (в этот раз он впервые ее рассердил), сказала: она уже не девочка и прекрасно понимает, что такое бессонница, но это явно не бессонница — ей по-настоящему плохо; что ж, смутился он, давайте обратимся к невропатологу, и тут же набросал на клочке бумаги письмо, с которым она отправилась в городскую больницу под названием «Медсантруд», располагавшуюся на Яузской улице, недалеко от Таганки, куда ей пришлось долго добираться на трамвае.

Ее принял доктор Вишняк, зав. отделением, чем-то похожий на Кауфмана, но более рыжеватый и сухой и внимательно выслушал. (Голова у нее к концу пути совершенно разболелась.) Из коридора доносились какие-то крики, и тут она почувствовала себя еще хуже. Ей стало нехорошо.

Поймав ее взгляд, Вишняк сказал: ой, я вас умоляю, не обращайтесь внимания, у нас не психиатрия, ничего такого... тут молодой человек один, небольшое расстройство... а вы... скажите, Светлана Ивановна, вы сильно не простывали в последнее время?

Но нет, она не простывала, она не страдала тяжелыми инфекционными болезнями, у нее не было стрессов, крупных неприятностей, драм в личной жизни (нет-нет-нет), ни у каких родственников никогда не было ничего подобного — нет, она просто не может заснуть.

Хм, сказал Вишняк и подошел к окну.

Скажите, а когда ваш мальчик уезжает в это самое Кратово? — рассеянно спросил он, не отрывая взгляд от окна, и она вздрогнула, потому что не помнила, когда успела ему это рассказать, но, видимо, когда-то успела, боже ж мой, как все напутано у нее в голове, да-да, ответил он меланхолично, видимо, почти читая ход ее лихорадочных мыслей, вы мне об этом уже рассказали, так когда? — В эту среду. — Так, сказал он... ну, знаете что, вы уж как-то дотерпите до среды, отправляйте мальчика в надежные руки на природу, а потом соберите домашнюю одежду, ложку, зубную щетку и приходите ко мне на обследование, ляжете на несколько дней, отдохнете, может, сон и наладится.

Она так и сделала.

Сама больница, с ее запахом тоски и одиночества, сами эти голые белые стены и огромные потолки, невероятных размеров окна, впускавшие солнце через грязноватые стекла и побеленные рамы (больница располагалась в огромном бывшем поместье), и то, что здесь так рано вставали и так рано ложились, ее бесконечные, просто бесконечные прогулки в больничном саду (ну не сидеть же в палате с этими старухами), скудное, невкусное, но правильное питание, наконец, какие-то таблетки, которые она глотала горстями и которые действовали на нее отупляюще, снимали боль в висках (вообще она чувствовала себя здесь бесплотной, нереальной и невесомой) — все это *должно было* заставить ее заснуть, но она все равно никак не засыпала.

Нет. Она бродила по коридору и тихо скулила по ночам.

Потом выходила в больничный сад и думала: а может, уйти отсюда совсем?

Москва дышала рядом, шелестела редкими машинами, цокала копытами, перекликалась приглушенными голосами — там, за оградой. Она смотрела на освещенные

окна больничного флигеля, где жили врачи, и думала: как же им хорошо. Они не спят, потому что не хотят! Сами!

Хм, сказал Вишняк вторично, когда она пришла к нему после трех дней такой жизни. Еще через день ее повезли на каталке, раздев донага, под чистой, выглаженной, даже еще теплой белой простынею в какой-то далекий кабинет, где лаборант, краснея от застенчивости, прилаживал к ее голове контакты на липучках, потом плотно стягивал металлическое кольцо вокруг головы, потом включал аппарат, горели лампочки, аппарат гудел, а она от страха закрывала глаза и боялась описаться.

Хм, сказал Вишняк в третий раз, когда она опять пришла к нему рано утром, до завтрака (она всегда приходила до завтрака). По дороге она посмотрела в зеркало, лицо, ей показалось, было, как у ведьмы, немного синюшное и осунувшееся, торчали патлы, из домашнего халата высовывалась жилистая страшная шея, похожая на змею, может быть, лучше не жить, чем жить в таком виде, но она открыла дверь и спокойно вошла, хм, сказал Вишняк, держа перед глазами листки, *заполненные* старательным лаборантским почерком, знаете, а все оказалось сложнее, чем я думал, конечно, наука пока... не может ответить на все вопросы, но, судя по всему, это воспаление нервных окончаний, кора головного мозга... дальнейшее слилось в некое бу-бу-бу... которое я подозревал, к сожалению, подтвердилось. И что, задыхаясь от волнения, спросила она, какие последствия, вообще, сколько мне осталось жить? Вам? — расхохотался Вишняк, да вам еще жить и жить, нет, Светлана Ивановна, все не так ужасно, но *вот* спать... спать, наверное, вы все-таки будете плохо.

То есть как это — «плохо»? — холодея от неприятных предчувствий, спросила она; послушайте, развернулся Вишняк от окна и решительно сел напротив, не нужно бояться — дальше он долго излагал теорию сна, которая вкратце сводилась к тому, что совершенно непонятно, для чего и под влиянием чего человек спит, и что на самом деле с ним происходит во сне, возможно, в будущем люди смогут заполнить это совершенно пустое время чем-то другим, а возможно, бессвязные картинки, которые они сейчас видят во сне, будут воспроизводить какие-то приборы, то есть, грубо говоря, к голове человека будет подключаться какой-то экран, и он будет просто общаться с теми, кого хочет увидеть... господи, какой ужас, непроизвольно сказала Светлана Ивановна, и Вишняк так же непроизвольно рассмеялся, одним словом, Светлана Ивановна, завершил он уже другим голосом, тише и печальней, ситуация такая: я пропишу вам все необходимые лекарства, но если через неделю вы не заснете, я настоятельно рекомендую таблетки снять и жить, как вы жили и раньше, только... Что — «только», спросила она, говорите уже наконец. Только теперь ваша жизнь не будет так резко разделена на эти два промежутка, понимаете, вы будете как бы в одном состоянии, полусна-полуяви, но ничего страшного в этом нет, организм когда-то приспособится, и вы сами привыкнете, вам будет казаться, что вы заснули, или будет казаться, что вы проснулись, но не стоит на этом фиксироваться, углубляться в проблему, считайте, что вы такой человек, ну, скажем, не совсем обычный, вот и все, это редкая, да, но в целом заурядная болезнь, как я уже говорил, *вызванная* не тем, что вас кто-то за что-то наказал, что вы такая особенная, нет, вы не лунатик, не сомнамбула, не тень отца Гамлета, вы просто человек, который больше бодрствует, чем спит, понимаете?

— То есть я не буду ходить по крышам? — серьезно спросила она.

— Нет, — серьезно ответил он.

Чтобы ее утешить, в конце беседы Вишняк произнес несколько довольно загадочных, как ей показалось, фраз: он сказал, что, вероятно, она заснет однажды, без всяких усилий, сама, это произойдет под влиянием неведомых, недоступных пока науке закономерностей, накопится усталость или что-то там такое в голове... — он щелкнул пальцами, не в силах подобрать нужных слов, — и вы заснете, сами не понимая, как...

— Ну а если у вас будут вопросы... — сказал он уже обычным голосом и нервно оглянулся на дверь, в коридоре, наверное, давно скопилась к нему небольшая очередь, — ...приходите тогда ко мне.

Она сухо кивнула и вышла.

Постепенно Зайтаг поняла, что Вишняк ни в чем не ошибся, и записи, сделанные лаборантом, увы, отражали истинное положение дел.

Она научилась не спать.

Пожалуй, это само по себе было похоже на сон — сон без сна, где она была одновременно и субъективным «Я», и объективным «не-Я», сама для себя — героем и персонажем, который вел себя, откровенно говоря, по-разному, например, первое время она могла разрыдаться от напряжения, неожиданно, в любом месте, как если бы только что потеряла любимого человека: в булочной, в библиотеке, на своей службе (это чаще всего) или дома, сидя у окна, или на улице, в трамвае, или даже в театре, впрочем, всякого рода мероприятия, театры, концерты она посещать перестала — это было как бы чересчур, мир и так стал для нее киносеансом, она видела то, чего не видела раньше, например, глаза — глаза у людей стали более яркими и глубокими, всматриваясь (в ответ) в чей-то пристальный взгляд, она «застревала», настолько говорящими и порой страшными бывали эти взгляды — из глубины, такой глубины, о которой сами люди даже не подозревали; эти случайные взгляды ее затягивали, она поспешно отводила глаза, но и этих секунд было достаточно. Для нее изменились и звуки, какая там консерватория, какой «концерт для фортепьяно с оркестром»: трамвай грохотал над ней, как апокалипсис, птицы рассаживались прямо у нее в голове, чтобы поговорить о Библии или о «Капитале» Маркса, она слышала их реплики, и они ее иногда ужасали, а иногда смешили. Когда приходил вечер, а за ним ночь, она начинала слышать буквально все, что происходило не только в соседних комнатах, но и во всем доме, а ведь ее отделяли коридоры, стены и квадратные метры, и другие комнаты, и опять толстые стены, но она все равно слышала, как встает ночью с постели жена капитана Новикова, как она перебирает его вещи на столе (зачем?), прижимается к горячему телу мужа, огромному здоровому телу, и заставляет его перевернуться на бок, чтобы он не храпел. Пораженная этими яркими картинками, которые она не видела, но *слышала*, Светлана Ивановна вскакивала в страшном возбуждении и выходила в сад, потому что слышать весь дом было нестерпимо, — но она все равно слышала: и кашель, и стон, и сладостные муки любви, и чтобы не слышать — она стала покидать дом в ночное время.

Днем вокруг нее были хотя бы другие, *официальные* звуки. Они не позволяли ей так глубоко погружаться в мир человеческих отношений, а ночью этот мир открывался перед ней чересчур откровенно, и она его стеснялась и боялась, как боялась глаз прохожих и боялась теперь свинцового неба над площадью Борьбы, над садом туберкулезного института, и она накидывала пальто, надевала туфли и шла, и шла, и шла...

Впервые выйдя ночью к Самотечному бульвару через этот самый сад, она вдохнула свежий воздух с горьковатым привкусом (шел сентябрь) — здесь ей было лучше!

Она шла по аллее, в темноте чувствуя взглядом и хорошо слыша шуршание травы, удивленные взмахи веток, обходя кучи мусора, принимая на себя кошачьи взгляды (все-таки они были не такие тяжелые, как у людей, хотя и дико светящиеся в темноте), — и понимала, что теперь так будет всегда.

Под утро, когда посветлело небо и она нашла себя уже где-то в районе Старой Басманной, Зайтаг вдруг поняла, что так теперь действительно будет всегда, что она стала отдельным человеком, который видит и слышит не как все, чувствует иначе,

и у которого свое, отдельное пространство и время. Сделав это открытие, она почему-то засмеялась, но не истерически, а даже радостно, влажный холодный до озноба воздух сентябрьского раннего утра, облежавший ее фигуру, рассеивался на тонкие слои, это был слоистый, нецельный, состоящий из тонких пластин мир. Пластины были... розоватыми, наверное, да, скорее, розоватыми, не каким-то нездоровым, активным, слишком телесно-розовым цветом, но слегка приглушенным; а солнце, которое выплывало постепенно из-за края крыш, — было черноватым, и она могла раздвинуть этот мир рукой совершенно свободно, чтобы войти внутрь, где было прохладно и спокойно, но она не хотела ни в какую нишу, а просто шла дальше.

Да, мир, открывавшийся в эти первые недели, был ей незнаком, он был похожим на тот, ее прежний мир, но только отчасти. Плотность звуков в нем бывала невыносимой, так же как и невесомость вещей и предметов, и только одно помогло ей в нем удержаться и к нему привыкнуть — это был Лёшенька.

В начале августа он вернулся из Кратово (сама она с «группой», конечно, не поехала), и начались трудные, но важные дни привыкания — теперь каждый шаг давался ей с гораздо большим трудом.

Именно тогда, в августе 1930 года она ясно осознала, насколько тяжелее ей стало двигаться и делать самые простые вещи. Пол в комнатах она теперь мыла по два часа. К приготовлению борща готовилась задолго, медленно расставляя в голове привычные стадии готовки — сварить свеклу, очистить и порезать лук, поджарить, положить в кипящую воду. Она читала по тетради рецепты, чтобы не забыть ничего, — и плакала от бессилия. Но, слава богу, сын этого не замечал.

Наконец началась школа, и ей стало полегче.

Теперь она могла просто сидеть на работе и смотреть в стену.

Ей тогда исполнилось тридцать два года. Она родилась в 1898-м. Этот «хвостик» в два года, зацепившийся в прошлом веке, почему-то не давал ей покоя, он казался чем-то стыдным, компрометирующим, как будто этот хвостик в два года сообщал всем о ее непролетарском происхождении...

Ее отцу, прибалтийскому немцу по рождению, Ивану Зайтагу, принадлежало полдома в Вышеславцевом переулке, где они жили одни, хотя когда-то отец собирался сдавать комнаты на втором этаже, подселять жильцов, но ничего из этого не получилось — он не успел.

Отец имел маленький магазинчик на Мясницкой, вход через арку с улицы, табличка была мелкая, дешевая, отец вообще был скуповат, суховат, необщителен; в магазине, одна половина которого торговала фарфором и фаянсом, другая — кухонно-скобяными изделиями, торговля шла с переменным успехом, но магазин приносил доход, и возможно, именно благодаря скуповатости Ивана Зайтага коммерческая удача ему сопутствовала, наконец, в 1913 году, взяв банковскую ссуду, он купил эти полдома, и они переехали из далекого пригорода — Купавны — в Москву.

В сущности, в этом и состояла его главная мечта: чтобы дочь получила образование и познакомилась с приличными людьми. Дело в том, что, будучи прибалтийским немцем, сам Иван Иоганнович Зайтаг не имел никакого наследства вообще, никакой семейной собственности, никакого родительского капитала — в годы неурожая все забрали бароны, которых он вспоминал недобрым словом, а может быть, его родители вовсе и не были немцами, а он скрывал это от нее (зачем?), а были они, например, простыми латгальцами или чухонцами, кто их там разберет.

Мать Светланы Ивановны погибла от скоротечной болезни, братьев и сестер не было, другие родственники жили не здесь — словом, они с отцом были в этом мире одни. Поэтому переезд из маленького домика в Купавне во 2-й Вышеславцев переулочек стал самым главным событием первой половины ее юности. В 1913 году они переехали, и она пошла в частную женскую гимназию Алфёровых (на Плющихе) — отец сам возил

Карен Тараян

Кочегары страны Аид

* * *

И кто б мы были, если бы не эта
смешная и лазоревая правда
стихов, июльским солнцем разогретых,
как будто бы они есть часть ландшафта.
Растут на пустыре среди полыни
и через нас, распарывая землю,
и говорят как будто на латыни,
и ей одной как будто бы мы внемлем.
Сидящие на яблоне синицы
и жук, пересекающий гряды,
вот наши тексты, на одной странице,
лежат, как тень от рабицы в саду.
И кто б мы были и зачем терпели,
(когда б не знали, что такое чудо),
дожди и пробки, тесноту, простуду,
и эти дни, как серые тоннели,
протянутые к синеве отсюда.

* * *

бог достаёт из большой корзины
души как спелые апельсины
выкладывает не глядя
на белоснежную скатерть
и запускает под видом комет
в одну из восьми планет
что попадётся в ладонь демиурга
станет таксистом швейи хирургом
красным околышем в серой тужурке
по три звезды в ряду
ступица объединяет спицы
центры окружены провинциями
знал бы он прикуп как говорится
жили бы в райском саду

Тараян Карен Маратович — родился в 1988 году. Окончил Московский государственный университет печати. Участник литстудии «Полиграфомания» московского «Политеха». Финалист всероссийского конкурса «Филатов-Фест». Автор двух поэтических сборников: «Подданный царства растений» (М., 2018) и «Неделимое частное» (М., 2020). Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

блещет небесный Иерусалим
через завесу дыма
знать не зазря мы в аду горим
чтоб им не тускло было
чтоб было хлеба и молока
вдоволь халва на третье
двери на крылышках мотылька
вместо железных петель
пламя бушует огонь чадит
отблесками играя
мы кочегары страны Аид
на обогреве рая
кто кроме нас им растопит печь
кто им наполнит ведра
кто им там будет тепло беречь
кто за огнём присмотрит
нежное облачное безе
тает на райском блюде
нет хуже ада в котором все
лишь о себе пекутся

* * *

Бог по составу
Как хлопок и лён
Бог нецелеустремлён
Он свисает на нас
Обнимает как газ
Он как будто бы в нас влюблён

Над полями лугами
Над крышей ФСИН
Тело бога как апельсин
Он летает кругами
Чуть касается сапогами
Здания «Овощной магазин»

Кланяется дворникам и солдатам
Бог это вроде как мирный атом
Солнце садится за самым МКАДом
Над бегущей строкой
Пассажиrow на мостовой
Он чуть слышно порхает рядом

Машет церквям и подъёмным кранам
Льнёт к витринам, балконам и ресторанам
И облака прикладывает к ранам
Как будто вату

Алексей Сальников

Буллинг животворящий

Рассказ

Михаилу представлялось, что человеческая адекватность — это что-то вроде циферблата. На «двенадцати» находилась норма — спокойное такое существование, когда быт человеку не в тягость, а даже радует, а больше ничего и не нужно. «Час» — там располагались неяркие футбольные болельщики, всякие просмотрщики сериалов, собаководы. На «двух часах» обитали почти те же самые болельщики, просмотрщики, собаководы, но уже с уклоном в коллекционирование всякого мерча, связанного с любимой командой, любимым сериалом, любимой породой блоховоза. Всяких значков и шарфов команд, футболок с номером форварда, плакатов с киногероями, магнитов с изображением корги. «Три часа» подразумевали некую уже социальную активность в рамках увлечения, то бишь: поездки на чемпионаты, косплеи, собачьи клубы. Дальше там было много всего. В общем, «без пяти двенадцать» на Михайловой шкале адекватности обитали всякие разные вурдалаки, один другого краше.

Каждый раз, когда Михаил пересекался с Павлом — своим знакомым, и видел его спокойное обаяние, бритую добрую его физиономию, которая всегда излучала что-то вроде юмора, но не интернет — юмора, не нынешнего современного телевизионного, а такого, какой от Райкина исходил в некоторых репризах: «Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто брякнет...» Словом, видя знакомого своего Павла, Михаил почему-то отчетливо понимал, что все это показное, но такое натуральное дружелюбие, почти бесконфликтность, готовность прийти на помощь — исходят больше силой актерского Пашиного таланта, а не от некоего врожденного умения любить окружающих.

Павел выглядел нормальным, но это была нормальность безумия, описавшего полный круг, замершего без одной секунды двенадцать, — безумия, которое уже казалось Михаилу адекватнее самой адекватности. Например, как и множество нормальных людей, Паша полностью был в кредитах. Машина у него была в кредит, велосипед в кредит, квартира в кредит, мебель в кредит, ремонт в кредит. Паша платил алименты, так что получалось, что даже ребенок у него был, в некотором смысле, в кредит. Как и всякий здоровый индивид, Паша работал сразу в нескольких местах и постоянно был занят. Ежели случалась какая общая дружеская вечеринка, он всегда говорил: «Мне нельзя много пить, мне завтра на работу», и, как и всякий обычный человек, тут же напивался после этих слов до безобразного состояния.

Сальников Алексей Викторович — российский писатель. Родился в 1978 году в Тарту. Печатался в журналах «Урал», «Волга», «Октябрь» и др. Лауреат поэтической премии «ЛитератураРентген» (2005) в главной номинации, «НОС» (2015; приз критического сообщества), лауреат премии «Национальный бестселлер». Живет в Екатеринбурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 11.

Неизвестно, по какой причине Михаил предполагал в нем психопата: то ли по гипнотической интонации в голосе, из-за чего Михаилу казалось, что с какими бы словами не обращался Павел к людям, звучало это всегда так, будто он произносил: «А теперь иди и спрыгни с десятого этажа»; то ли из-за того, что, как Паша однажды признался, в детстве и уже во взрослом возрасте его любимым фильмом был и остался совершенно отмороженный «Незнайка с нашего двора», а может, потому, что Паша работал психологом, а Михаилу всегда казалось — здоровые люди в эту специальность не идут.

* * *

Они случайно встретились на перроне. Михаил поехал навестить родителей в Новосибирск.

— А я на конференцию, — сказал Паша. — В одном вагоне, значит. А это у тебя Ольга, это у тебя мелкая.

Он раскланялся с женой и дочерью Михаила, чем сразу же расположил их к себе: серьезные и даже капризные оттого, что им уже надоело торчать под жарким летним солнцем, среди пыли, мегафонов, баулов и мокролицых людей, куда-то постоянно идущих, таскающих за собой баулы с неприятно скрежещущими колесиками, обе повеселели. «Маньячина», — подумал Михаил и еще раз подумал то же слово, когда дочь, застенчивая с чужими, тут же ответила:

— Вы вдвоем поедете. Это значит, вам в два раза веселее будет ехать.

Павел с удовольствием посмотрел на дочь Михаила, но промолчал.

— ...Вот ты психолог, — говорил Михаил часа через четыре, когда они уже порядочно отъехали от города, успели подкупить проводницу, чтобы она не докапывалась, когда они ходили курить между вагонами, успели слегка накатить в пустом купе Павла. — Ты же сам знаешь, что это специальность так себе, слабо к здоровью имеет отношение, это просто способ деньги из людей качать, на эту вашу терапию можно годами ходить, то одну проблему пытаться решить, то другую, пока не надоест. Так ведь?

— Не так, — отвечал Павел, умиротворенно привалившись к спинке диванчика, тогда как Михаил наседавал грудью на стол. — Если проблемы годами копятся, так их и приходится довольно долго решать, плюс к тому, пока со старыми проблемами разбираешься, может что-то новое накатить. Почему-то все думают, что психология — это как пальцем в нужную точку ткнуть, чтобы все разом прошло. А у нас с психологической помощью в стране так все хорошо, что не пальцем нужно тыкать, а ковровые бомбардировки применять, напалм, агент «оранж», да и то не сразу поможет. То есть целыми кварталами и районами брать и принудительно на терапию гнать, как на выборы. Приходи, если интересно, поработаем. У меня двери всегда для дру...

Павел осекся, увидев, как Михаил на него смотрит.

— Чу, — заметил Павел. — Тут никак что-то личное!

Тут настал черед Михаила отстраниться, абстрактно сказать шторке с буквами «РЖД»:

— Да что ты сделаешь, господи. Разве что через свои знакомства. Хотя какие у тебя знакомства?

Слово за слово, с походами покурить, стоянием в тамбуре, в проходе вагона, покрытого длинным полосатым ковриком, — и Михаил рассказал, что его дочь травят в школе. Уже кого только не подключали: родительский комитет, директора, чуть ли ни в суд пытались подать. Особенно выморозил Михаила школьный психолог — девочка едва ли старше его дочери, которую в школе и саму ни во что не ставили. Психолог проводила какие-то тренинги, разговаривала с травителями и дочерью. Травителей эти беседы, кажется, только забавили. Потешно это все им было.

Владимир Шпаков

Люда

Рассказ

1

От той жизни ничего не осталось — ни намека, ни предметных деталей, лишь воспоминания, худо-бедно оживлявшие былое. Чаще всего вспоминался плот, и он сам на склизких досках, что разъезжаются под ногами. Доски связаны на скорую руку, прогалы между ними все шире, и он вот-вот ухнет в холодную черную воду. И берег вроде близко, да не доплыть: шест погружается так, что рукава мокрые, — а дна нет! Нога соскальзывает, он проваливается по колено, но пока выбирается. А когда плот распадется?! Он озирает пустынный берег, где, кроме кустарников и пожухлой травы, — никого! А значит, кричать бессмысленно (хотя очень хочется!). Погрузив в воду шест, он опять нащупывает пустоту, и уже помимо воли из груди вырывается: «А-аа!» Помнилось, кричал тонким голосом, это был визг, привлечший кого-то в сером пальто и белом берете. И вот этот кто-то бежит к берегу, скидывает пальто, берет, и по плечам рассыпаются светлые волосы. Волосы удивили. Даже разочаровали, ведь их обладательница вряд ли могла спасти: требовался сильный и храбрый мужчина, да еще умеющий плавать. Он-то плавать не умеет! И та, что остановилась у кромки воды, не умеет, иначе давно прыгнула бы в пруд! Он пытается грести шестом, поскальзывается, чтобы через секунду уйти под воду и, вынырнув, во все горло заорать «Спасите!».

Он не увидит, как та, с волосами, ринется в воду; зато почувствует, как его схватят за воротник, вытащат на берег и, не дав отдышаться, пнут: «Беги!» Он подчинится и, дрожа от холода и размазывая по лицу слезы, побежит к дому. Она будет бежать сзади, подталкивать в спину, они ввалятся в сени, и тогда впервые прозвучит: «Люда». А может, «Людка», он был в таком состоянии, что не запомнил. Потом это имя будет произноситься неоднократно, оно вроде как поселится в доме, сделается частью семейного бытования, но в то апрельское утро для него прозвучит впервые.

Люда навсегда останется в той жизни, что исчезла, погребенная под слоями асфальта и фундаментами многоэтажек. И поселок, где жил с родителями, исчезнет; и пруд, на котором едва не утонул; и корова, и дед с его пасекой — все погрузится в пучину времени. Останется он, хотя совмещать себя с пацаном, что метался по связанному на живую нитку плоту, с каждым годом будет труднее. Даже имя — Севка —

Шпаков Владимир Михайлович родился в Брянске 10.01.1960—18.10.2020, Санкт-Петербург). Прозаик, драматург, критик. Автор восьми книг прозы, ряда пьес и множества литературно-критических статей.

Предыдущая прозаическая публикация в «ДН» — 2019, № 6.

Ирина Богатырёва

Дядьмороз

Рассказ

— Ищи, Тото! След!

Поводок дрожит в руке, собака тянет. Под брюхом вагона мелькает соседний перрон, кто-то ходит: ноги, ноги, пустота, припорошенный снегом асфальт. Конечно, они там, но им не укрыться: Тото уже взял след, и вот-вот преступники будут пойманы!

— Стоять! Ни с места! Вы арестованы! Тото, взять!

И пусть только посмеет бандит вытащить нож или пистолет! Собака черной пулей бросится и загрызет насмерть. Ведь это Тото, лучший полицейский пес!

Был бы лучшим полицейским псом, если бы был настоящим. Тимка так неожиданно вспоминает об этом, что становится больно в груди. Как будто бежал-бежал и вдруг споткнулся и растянулся на асфальте. Коленки в кровь, но не плакать, только не плакать, большой уже, плакать нельзя. Тимка вжимается лицом в игрушечный бок собаки. Он часто последнее время вспоминает не к месту разные вещи, о которых лучше не думать совсем.

— Ничего, Тотошка. Ты еще вырастешь и станешь настоящим боевым другом.

Стеклянный глаз игрушки блестит в свете вокзальных фонарей. Тимка поднимает голову и шурится. Если сошкуриться совсем сильно, ничего не видно, а если оставить щелочку, то свет вспыхнет лучами и заиграет, и все вокруг станет сияющим, праздничным, необыкновенным, на всем загорятся маленькие звездочки. Они с бабушкой так часто играли: бабушка не знала, что можно сошкуриваться, но Тимка ее научил. И они иногда всю дорогу от сада до дома шли сошкурившись, чтобы звезды в глазах.

Вот, опять: о бабушке тоже нельзя думать. Совсем-совсем нельзя. Иначе в груди приоткроется противная форточка, и начнет тянуть мерзким сквозняком. Нет! Тимка решительно захлопывает ее — и думать нельзя, и плакать нельзя, ведь ты уже большой, а большим вообще ничего нельзя.

— Тимофей! — Мама подбегает и дергает за руку, чуть Тото не выбила. — Ты доиграешься! Сколько раз говорила, не смей прятаться от меня! Пойдем быстрее, от поезда отстанем.

Как от него можно отстать, если поезд вот стоит, прямо под боком? И ничего Тимка не прятался, все время тут был и папу с мамой видел у входа в вагон, где

Ирина Богатырёва родилась в Казани, выросла в Ульяновске. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Автор пяти книг прозы, сборника литературных переводов алтайских сказок и др. Печаталась в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов» и др. Финалист и лауреат многих литературных премий, в том числе по литературе для подростков и премии «Студенческий Букер». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 3.

Ольга Сульчинская

Знаки звука

Старый рынок

Фариду Азизову

Саямалейкум говорливый
Торгует персик залежалый,
Жизнь пахнет яблоком и сливой
Над увядающей державой,

Сжимают граждане карманы,
Торговый ряд несёт убытки,
Пока толпой бредут ромалы,
Влача орущие пожитки,

А гамарджоба разговором
Бодрит себя за помидором,
Но горы пышного укропа
Уже загнили, как Европа.

Школа вокала

Не скрипи, моя шарманка,
Не свисти, дружок сурок,
Есть у музыки изнанка:
В чёрных точках кровотоков.

В чёрствых крошках-закорючках,
В горле жётся и першит
И до слёз моих горячих
Сквозь меня себя вершит.

Сульчинская Ольга Владимировна — поэт, писатель, психолог. Родилась и живет в Москве. Окончила филологический факультет МГУ и Высшую школу гуманитарной психотерапии. Работала редактором, переводчиком, копирайтером и преподавателем психологии. В настоящее время шеф-редактор журнала Psychologies. Автор трех книг стихов.

Он бредёт не зная броду
Сквозь немую воду тьмы
И выходит на свободу
Изнутри, как из тюрьмы.

Обезьянка, дай мне руку!
Просыпайся, мой сурок!
Покажи мне знаки звука,
Помоги пройти урок.

Виноградное танго

Осенний виноград, уже слегка побитый,
С поржавленным листом,
Ещё он горд, как чёрт, южанин родовитый
С усами и хвостом, —

Танцует по дворам, балконы увивает,
Взлетает к небесам,
А всё же с каждым днём слабеет, убывает
И знает это сам.

Он забавлял детей и волновал соседок
Повадкой неземной
И яростно, как лев, сразится напоследок
С печалью и зимой —

И проиграет. Но — однажды день весенний
Всё возвратит ему: и молодость, и честь...
Ты думаешь, что есть на свете воскресенье?
Мне кажется, что есть.

Звук

Мы приляжем с тобой на траву.
Подложи мне под голову руку.
Я закрою глаза, поплыву
По щемящему звуку
Жизни ветра в тиши травяной,
Неслиянной, но схожей
С трепетаньем души кровяной
На руке твоей в жилке под кожей.
Если слухом прилежно следить
Этот лепет бессвязный,
Можно времени ход ощутить
Непрерывный и волнообразный.
Мы приляжем с тобой на траву,
Подложи мне под голову руку,
Всё я как-нибудь переживу,
И любовь, и разлуку.

Зуда

Я иду по краю ада,
По горячему лучу.
Я не знаю, что мне надо,
Не пойму, чего хочу:
Огнегорлые долины
Мне как будто ни к чему,
А в орлиные просторы
Я себя не подниму.
Кое-как держусь над адом,
Повезло, что не в аду!
Чёрным чадом, едким ядом
Жжёт мне пятки, ангел рядом
Говорит, что будет гадом,
Если я алле-парадом
Это дело не пройду...
Я зужу в свою зуду.
Может, и не упаду.

Валерия Крутова

Дазайн

Рассказы

Хрустальные огурцы

Они словно разобьются сейчас. От одного взгляда лопнут, и поминай, как звали. И меня поминай. Потому что бабушка обязательно придет и спросит:

— Это кто фужеры побил? — и руки в боки, как сахарница.

И правда сахарница, — платье расписное, узорами. Кожа белая, фарфоровая, морщинами-трещинками вся пошла. Старенькая, хрупкая, тем и ценная, тем и любимая. И сладко внутри — душа сахарная.

А я отвечу:

— Это не я, бабушка. Это грузовик проехал.

И вот кто поверит? Кто поверит, что дом ходуном ходит, когда машина проезжает? Что стекла дребезжат, будто вот-вот вылетят из серванта. А внутри чашки фарфоровые с голубыми парусниками на белом фоне, фужеры в красивый ромбик. Эти ромбы словно острым волоском вырезали на толстом хрустале. И сахарница та самая стоит — расписная и в трещинах-морщинах. Руки-ручки в круглые в бока упирает. Точно бабушка.

— Ну да, и самолет пролетел, — уйдет нахмурившись, но подмигнуть успеет так быстро, словно не было ничего, и так хитро, словно поверила.

И так каждый раз: грузовики едут, я репетирую, как перед утренником в детском саду, а посуда не бьется. Хоть хватай ее и бей уже, чтобы посмотреть, поверит бабушка или нет.

— Соня! — кричит бабушка с веранды. — Беги скорее кушать.

И я бегу, забывая про посуду и ромбики хрустальные, бегу, потому что — борщ! Потому что бабушка уже разлила его по металлическим мискам. А по краю мисок, на воротнике, сколы черные. Старые миски, еще от прадедушки остались. Только я сама его не помню, бабушка рассказывала.

— Ешь, — бабушка говорит, но на меня не смотрит. Она натирает чесноком хлеб. Так вроде бы вкуснее будет.

— Вот тебе вкусно, а мне пахнет, — и нос морщу.

— Это, Соня, всегда так. Кому-то вкусно, а кому-то пахнет. Ты либо полюби, чтобы вкусно было. Либо дай людям любить спокойно то, что они любят.

— Я понимаю, — киваю и кусочек черного хлеба в борщ макаю.

Валерия Крутова (Валерия Валерьевна Макеева) родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахстан). Участник Форумов молодых писателей «Липки». Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 4.

Я вообще люблю так делать. Печенье в молоко, сухарик в варенье, бублик в кисель.

— Бабушка, а свари кисель?

— Сварю, только ты вишню собери.

И вешает мне после обеда банку на шею. Я забираюсь по лестнице. Страшно, если честно. И бабушка стоит держит лестницу, а вид делает, будто просто стоит. Смешная. А я уже на... одна, вторая, третья... На третьей сверху ступени стою и от веток отмахиваюсь. Ветки и в глаза, и в уши, и в банку лезут своими вишнями. Вот бы сами и сложили ягоды туда.

— Бабушка, полную набирать?

— Полную набирай. Побольше киселя сварим.

— Чтобы и маме, и папе еще хватило? Может, тогда и пирог сделаем?

— Чего не сделать? Давай сделаем, — и пальцем мне грозит. — И что бы я без тебя делала?

— Отдыхала бы!

Бабушка смеется, аж лестница шевелится. Вот упаду! Не до смеху ей будет!

— Вот как упаду сейчас! — кричу ей сверху.

— Это ты мне угрожаешь, что ли? — удивляется бабушка.

— Предупреждаю, — и вишню в рот отправляю. Кисло, но еще хочется. — А клубника скоро будет?

— Клубника скоро, да мало, — бабушка хмурится. Это я ей месяц назад помогала сорняки полоть и семь грядок клубники повыдергала.

Ну а кто виноват, если сорняки выглядят красивее? Бабушка сказала, что всегда так. Надо не на внешность смотреть... и показала махонькую зеленую ягодку под сморщенным, голодным без земли стеблем.

— Не плачь, Сонечка. Зато малины много в этом году будет, — а сама украдкой слезу смахнула. Я видела!

Хорошо, что с вишней так не перепутаешь.

— Давай, слезай, — слышу бабушку и слезаю. Банка полная, чего стоять?

А бабушка уже у грядки с огурцами, нарвала свежих и улыбается. Как она их держит? Колючие, в пупырышках, и листья у огурцов такие, что чешешься после них полдня.

— Бабушка, а ты знаешь, что эти твои огурцы... — я перехожу на шепот, — хрустальные!

— Не знаю, — ахает бабушка. — Ну-ка, расскажи.

— Я тебе покажу, ладно? Только ты мне соленый огурчик сделай.

— Сделаю-сделаю, только покажи, — и смеется.

Дома она режет огурец пополам, а потом ножом — наискось — сначала в одну сторону, потом в другую по мякоти, солит и трет половинки друг о дружку.

— Вот смотри, смотри! — я срываюсь с места и бегу в зал, достаю фужер из серванта, бегу обратно. — Смотри-смотри!

Спотыкаюсь и роняю фужер прямо у стола. И солнце на осколках, и ромбики ничуть не испортились, даже красивее стали. Только все равно жалко.

— Стой не двигайся, осколки соберу.

— Стой не двигайся, — кричу и хватаю самый крупный осколок. — Посмотри! Как огурцы.

И правда же. Ромбы одинаковые, капли солнца-соли на огурцах, как блики на осколках. Точь-в-точь. Бабушка садится рядом и улыбается, собирает ромбы в ладонь.

— И ладошка у тебя хрустальная теперь, — плачу я.

— Ты знаешь, почему бабушкам обязательно нужны внуки? — спрашивает бабушка.

— Нет, — всхлипываю.

— Чтобы всю-всю посуду переколотить и новую купить, — она гладит меня по голове, и солнце уже не на осколках, а на ее волосах. Оно отражается от камней в серьгах, прыгает на цепочку и скатывается к кресту.

— И сахарницу можно?

— А вот сахарницу нельзя, — она хмурится. А я понимаю, что можно. А еще понимаю, что не буду.

И грузовик хоть сколько пусть катается и дом трясет. Грузовик тоже не будет.

* * *

Я гляжу на солнце, морщусь, прячусь от него. Хотя странно прятаться от того, чего ждал целых девять месяцев. По привычке ждал. Уже ведь ни каникул, ни сна до десяти, ни киселя из вишни. Хотя почему?

— Бабушка! — звоню домой. — А кисель сваришь?

— Сварю, — улыбается в трубку. — Только ты вишню собери.

— Я куплю, — смеюсь. — А то меня от той нашей вишни сразу в опорный пункт заберут.

— И огурцов купи, будем их хрустальными делать.

Я обязательно куплю огурцов, вишни, капусты для борща. Только приготовлю сама, сразу на неделю. Чтобы бабушка не хлопотала. А пока я борщ делаю, бабушка огурцы порежет и наискось ножом по мякоти, чтобы как фужеры. Как два фужера в серванте. Остальные я давно переколотила.

Щёлк

По носу — щёлк. Чтобы не зазнавалась.

— А как это — зазнаваться? — спрашивала и за косичку голову к плечу тянула. Взгляд становился хитрый и смешной.

— Меньше знаешь — крепче спишь. О как! — отвечала и косынку поправляла. — Тыфу-ты-черт, сползает.

— А зачем ты мне тогда так говоришь? Я же любопытная, сама говорила. И косынку сними. Ты красивая без нее!

— Ишь какая. Ласковый теленок, — улыбалась. — Не сниму, милая. А ну как волосы в тесто попадут! — и погружала руки в перину. Только из настоящей перины булочки не приготовишь, а из этой — пожалуйста.

Ида уходила играть, а бабушка продолжала стряпать. И нельзя было слово «стряпать» заменить другим. Иначе не то. Иначе не запомнится.

Щёлк по носу. Чтобы не зазнавалась.

Кукла глядела на Иду и молчала. Что такое зазнаваться? Это что-то нехорошее, раз надо щёлкать по носу? Что-то опасное?

Ида на всякий случай щёлкнула по носу себя, а заодно и куклу. Ещё раз.

А потом к окошку пошла. Больше всего на свете Ида любит смотреть в окно. Однажды, давно, Ида ездила с бабушкой на поезде. Или в поезде. Ида пока не разобралась, но зато хорошо помнила. И серое постельное белье, и здоровущие сумки в проходе. Еще помнила, как плакала и за маму цеплялась. Нет, на море Ида очень хотела. Только вот в вагоне без дверей ехать боялась. А как не бояться? Одни кровати-кровати со всех сторон. Одни люди-люди. А вдруг плохие?

Ида потом еще упала ночью с «боковушки» и спала в проходе, пока ее не подняла продавщица яблок. Ей просто надо было срочно яблоки продать, пока поезд стоит, вот она Иду и подняла.

Ида с бабушкой три дня ехали. Три дня ехали и три дня в окно смотрели. То есть Ида смотрела, а бабушка так. Поглядывала иногда.

Лида

Нет никого менее приспособленного к родам, чем женщина. Она рвется до анального отверстия, истекает кровью, теряет контроль и извергает из себя фекалии у всех на виду. Она кричит и обрушивает проклятия на всех, кто находится рядом. Она бьется в агонии и зажимает мышцы таза так, что способна изуродовать свое долгожданное дитя. В те секунды, когда боль ослабевает, она ломается, мякнет, ее сознание брезжит на горизонте, подмигивает, чтобы через мгновение снова исчезнуть, оставляя женщину наедине со своим предназначением.

И нет никого сильнее в эти мгновения только потому, что женщина не теряет надежды выжить и дать жизнь. И нет никого слабее в эти мгновения только потому, что женщина наполнена страхом и чужими советами.

Если бы Ольга Давыдова знала, что ей предстоит пережить, наверняка бы отказалась от счастья быть матерью Лиды, похожей на подвявшую картофелину, звучащую оглушительным нечеловеческим писком. Лида родилась двенадцатого июня в полдень. Пока Ольга корчилась, испуская из себя то ли последний дух, то ли первенца, солнце медленно запекало в старой копейке ее мужа — Савелия. На парковке у роддома места не нашлось, в тени деревьев на обочине тоже. Поэтому Савелий примостился у магазина в конце улицы, забравшись передними колесами прямо на тротуар. Прохожие, которым приходилось либо обходить копейку по проезжей части, либо шаркать боками серую стену магазина, оставляли на Савелии свои недобрые презрительные взгляды.

Зачем, спрашивается, этот будущий папаша просиживал время, которое можно было провести дома, тщательно вычищая углы их однокомнатной квартиры от пыли или, на худой конец, обмывать с коллегами по гаражному кооперативу свое орущее счастье и растянутую во все стороны жену. Обмывать впрок. Но Савелий сидел, почти не двигаясь, лишь изредка включая телефон, чтобы проверить точно ли он работает.

За восемнадцать часов он пару раз приложился к бутылке с нагретой солнцем водой и единожды окропил влагой угол за магазином, выбрав момент поспокойнее, чтобы никому не попасться на глаза за столь поганым делом. Савелия еще мама учила до дома терпеть. Будучи мальчиком, он ни один кустик, ни один камушек на улице не обмочил. Мама всегда носила с собой бутылочку или дорожный горшок. Став старше, Савелий ни в школе не мог нормально расслабиться и на переменах бежал домой, благо дом был в ста метрах; ни в офисе — абсолютно все он нес домой, не забывая попутно поминать маменьку недобрым словом.

А тут, вон как, не смог покинуть добровольно выбранный пост и наконец-то расслабился, даже не в общественном туалете, а посреди людной улицы, недалеко от роддома номер пятьдесят два. Уже в машине, утирая пот со лба, он подумал, что можно было воспользоваться бутылкой.

Первое сообщение: «Родила», — он получил, спустя восемнадцать часов. Второе: «Перевели в палату. Все хорошо» — спустя двадцать один час. И в тот же час он завел копейку и уехал домой. Осторожно, не рискуя набрать скорость, чтобы в случае чего моментально вернуться к роддому.

Но путь домой прошел благополучно. Сообщений не было, Савелий переоделся, сходил в душ, поставил чайник и принялся за уборку. Телефон он предусмотрительно держал на виду. Не дай бог что.

«Не дай бог что» случилось пять лет назад, когда Савелий отвез рожаящую жену — тогда Ирину — в роддом, а сам с друзьями сутки пил в гараже. Проспавшись, он нашел телефон, поставил его на зарядку и включил. За это время его старенький гаджет превратился в дрожащее от боли, зла и нетерпения адское пламя адской же новости — сын умер в родах. И все это время содрогающаяся от горя жена пыталась

дозвониться до Савелия. Его тогда било током от каждого пропущенного звонка. Как не убило вообще?

Через три дня, в вечерних сумерках, в полнейшей тишине, словно ворье, они вышли с Ириной из роддома со справкой о смерти и поехали в ЗАГС за справкой о разводе. Ирина настояла. Она так и не смогла простить мужу сутки тишины и безответного равнодушия. Пока она содрогалась от горя в одиночной палате и безуспешно пыталась дозвониться до Савелия, он праздновал рождение малыша. Рождение мертвого сына. Она так и не смогла. Не смогла простить его за свою хорошую и слишком живую фантазию. Она описывала все, что происходило в те его пьяные сутки в красках — она словно там и сама была. Там, в гараже посреди похмельного смрада, смачно сдобренного килькой в томате. Она была там, но никак не в родзале среди посеревших от необратимости врачей, пытавшихся спасти жизнь ребенка.

Савелий еще раз проверил телефон — тишина. Он отправил Ольге сердечко и сфотографировал тщательно вымытый зал — «готовлюсь, девочки». Получил: «а мы спим» и следом нечеткое фото младенца, страшненького, сморщенного, похожего на старого бурята в хлопчатобумажном чепчике.

«Красивая», — ответил Савелий.

«На тебя похожа».

Савелий рассмеялся. Его отпустило. Он вдруг заметил, что грудь вмещает намного больше воздуха. Буквально, в половину больше. Заметил, что дома пахнет хлоркой, и надо бы проветрить хорошенько. Заметил, что Ольга успела выгладить все детские вещи, а положить их в новый комод — не успела. Заметил, что второпях оставили медкарту в коридоре — и как это врачи не потребовали? И вспомнил. Вспомнил, как в копейке плавился двадцать один час. Как опорожнялся за углом — впервые в жизни не дома. Как пил противную теплую воду и взгляды прохожих вспомнил. Он их так и не стряхнул с себя, даже душем не получилось смыть. Они прилипли и были не такими уж и презрительными, они тоже узнали. Узнали, что у Савелия дочка Лида родилась. Она страшненькая и пока что не похожа на тех детей, что вытаптывают ножками площадки у дома. Прохожие узнали, и взгляды их стали снисходительными. Что с него, с папаши, взять? Переживает.

Да нет. Папаша не переживает. Он уже пережил... И можно, наконец, украсить копейку наивной и пошлой надписью: «Спасибо за дочку».

— Извините, а наклеек с именем Лида у вас нет?

Борис Ветров

«Чайка» для Лазаря

Рассказ

На самом деле его звали Серёга. Серёга Лазарев. У него были круглые и всегда удивленно-испуганные глаза, как у голубя, которого только что кормили пшеном и внезапно схватили за крылья. И пальцы у Лазаря тоже были похожи на лапки голубя — красные, тонкие, цепкие.

Лазарь был из барачных. Рядом с нашими новыми пятиэтажками уцелел кусок улицы из четырех двухэтажных неблагоустроенных домов. Там жили своей особой жизнью. Там ругались, дрались, пели и плакали, резали свиней и таскали в ведрах помои. Ведра выливали в вонючую, заваленную хламом яму посреди этого хуторка. Барачные отличались свободой быта и не ограничивали себя этикетом. Однажды, когда 9 мая я позвал барачного Валерку к себе на балкон пятого этажа смотреть салют, его мать равнодушно ответила на восторженный вопль: «Мамка, а я вот где»:

— Смотри, не грёбнись оттуда!

Верховодил у барачных дядя Вася. Всегда ухмыляющийся, подмигивающий, пьяненький; когда он шел по кварталу, вся окрестная шпана кралась за ним толпой и скандировала: «Дядя Вася, не поймашь! Дядя Вася, не поймашь!» Временами дядя Вася резко тормозил и гнался за нами. Мы в великом восторге, визжа, улепетывали от него, чтобы затем продолжить шествие. Тетки в кримпленовых платьях сварливо выговаривали нам: «Зачем вы дразните взрослого человека? Пусть идет». Но мы-то знали — для дяди Васи это была такая же игра, как и для нас. Пробегавшись, он приходил домой уже почти трезвым.

Дядя Вася умел снимать с деревьев запутавшиеся воздушные змеи, вырезать из вербы свистульки, играть на гитаре и петь какие-то странные песни. И еще гасить в самом зародыше драки. Он, ухмыляясь, втискивался в эпицентр зреющей потасовки, и толпа рассасывалась после его двух-трех слов. Барачные пацаны хвастались друг перед другом, если у них гостил дядя Вася. А в гости его зазывали часто.

— У нас-то дядя Вася, понял!

— Ой, ну и чо, они вчера у нас с батей чай со свиньей пили.

Это значило, что к столу была подана специально приготовленная для дяди Васи свинина.

Борис Ветров (Витковский) — родился в 1968 году в Чите. Работал на заводе, служил в армии, трудился на приисках. Главный редактор и совладелец ежемесячника «Чёрная газета». Печатался в журнале «Урал». Живет в Чите. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Лазарь жил на втором этаже, над квартирой дяди Васи. У него была большая и злобная мать. Она работала на хлебозаводе посменно, и Лазарь был обречен на ведение хозяйства. Иногда, идя с работы, она останавливалась возле нас, вынимала из недр дерматиновой сумки горячую булку хлеба и молча совала нам. Мы разрывали ее на части, стараясь урвать побольше хрустящей корочки, и шли запивать теплый мякиш вкусной водой из колонки за водосточной канавой. Вот с этой канавы все и произошло.

Для нас это была совсем не канава, а настоящий фронтовой окоп. Дно было песчаное, мягкое, оно позволяло лепить колобки для обстрела неприятеля и возводить дополнительные фортификационные сооружения. В те годы мы чаще всего играли в войну. И хотели служить в армии.

После войны, на втором месте была игра в машинки. И не просто в машинки — это был спорт, коллекционирование макетов автомобилей в масштабе 1:43. Такие модели продавались только в киосках «Союзпечать» и стоили очень дорого — три пятьдесят. Самые заядлые коллекционеры копили деньги всеми возможными способами, чтобы в конце месяца похвастаться очередной новинкой. У этих машинок были резиновые шины, подвеска из стального тонкого прута, у них, как у настоящих авто, открывались дверцы, капот и багажник. Чем больше было машинок в коллекции, тем выше был авторитет ее владельца. Машинки выносили во двор, где счастливые автовладельцы объединились в свой клан. Они строили дороги, мосты, ставили дорожные знаки и не подпускали к своим играм безлошадных.

Моя коллекция была маленькой — ее и коллекцией было трудно назвать. Были: «Москвич-412», «Москвич-403», «Иж-Комби» и единственная иномарка — «Альфа Ромео Джулия». За нее ушлый делец — одноклассник Мися — предлагал мне милицескую «Волгу» и даже сверхдефицитный «УАЗ». Но итальянка мне нравилась больше.

У Лазаря машинок не было вовсе. Вообще у барачных с игрушками было плохо. Они делали самострелы из бинт-резины, вырезали из досок сабли и ружья и в складчину покупали в «Старте» футбольный мяч — черный и жесткий, как гигантский жук-скарабей. Такой мяч надо было несколько дней распиновать о стену, чтобы он стал пригоден к игре. Когда мы играли в машинки, Лазарь сидел на скамейке в нашем дворе, если там не играли в домино мужики. Когда приходили доминошники, он топтался поодаль и жадно наблюдал. Старший барачных пацанов по кличке Снегурочка (кличку ему дали в насмешку — на самом деле он был очень смуглым черноволосым татаринном), идя курить за гаражи, говорил нам: «Дайте поиграть пацаненку, чё вы как жлобы?» Но не уступающий ему в силе Слава-Сало с нашего двора отвечал: «Дай уехал в Китай, беги догоняй».

— Вот богачи проклятые, — сплевывал Снегурочка.

— А вы — бедняки, — парировал Слава-Сало.

Так барачные превратились в бедняков. Иногда, идя на стадион или в лес, мы говорили — ну что, бедняков берем с собой?

* * *

Однажды мне привалило неожиданное счастье. Мне подарили сразу две машинки, да какие! Это были никогда не попадающиеся в продаже модели советских лимузинов «Чайка». Одну машинку достала через знакомых мать, а вторую где-то умудрился тоже по благу достать дед — персональный пенсионер и лауреат Сталинской премии. Когда я впервые вынес во двор обе «Чайки», мой авторитет на время вырос невероятно.

Алан Цхурбаев

Бледные пятна

Рассказ

Я сидел и мял свинец, больше заняться было абсолютно нечем. Свинец окружал меня со всех сторон. Тонкими листами он был прибит к стенам и дверям комнаты, в которой я сидел в полном одиночестве. Прибит он был неровно, и там, где сходились листы, местами торчали загнутые края. Этим я и занимался — нажимал посильней на них и пытался соединить получше. Свинец нехотя слушался моих пальцев и постепенно выравнивался. Мне казалось, что я делаю очень важную работу. Я спасаю жизни людей, ведь сквозь щели пробиваются смертельные лучи. Если такой луч попадет на человека, тот сразу умрет. Сначала закричит, а потом упадет замертво. И поэтому надо соединить поплотней эти края, надо успеть спасти как можно больше людей...

Наконец дверь открылась, и из свинцового кабинета вышел отец в белом халате, а за ним пациент.

— За результатами зайдете в понедельник после обеда, — сказал отец на грузинском.

По-грузински он говорил чисто, как и писал. Обычно, когда уходил последний пациент, отец садился за стол, рассматривал стопку рентгеновских снимков и долго заполнял какие-то бланки. Там была такая графа, куда нужно было вписывать год, вернее, последние две цифры. Как-то раз, заполнив последний бланк, отец в шутку пожаловался мне: «В прошлом году так удобно было вписывать одним движением руки «88», а теперь приходится после восьмерки девятку в другую сторону рисовать». Иногда я думаю, куда делось время, когда такие проблемы волновали людей, пусть даже в шутку.

— За результатами в понедельник.

— Спасибо, батоно Игорь! — затараторил пациент. — Батоно Игорь, мне вот друзья из-за границы привезли, возьмите пожалуйста, хорошие... — сказал он и протянул пачку импортных сигарет.

Отец поблагодарил, засунул пачку в карман и добавил:

— Я ведь только диагноз ставлю.

Потом мы долго ехали домой в метро, сидя друг напротив друга, и я все смотрел на отцовскую куртку. У него была фантастически модная куртка. Узкая коричневая кожанка с вязаными рукавами. Он привез ее из Югославии, и такой больше не было

Цхурбаев Алан Игоревич родился в 1976 году в Тбилиси. Окончил факультет иностранных языков Северо-Осетинского государственного университета. Работал журналистом, ведущим авторской передачи «Перестаньте смеяться» на ГТРК «Алания». Рассказы публиковались в журнале «Дарьял», в различных сетевых изданиях. Живет во Владикавказе.

Александр Францев

Над равнодушной державой

* * *

Не придёт с работы уже никто,
хмурый и помятый.
Потому что папа — «кобель в пальто»
и пропал с зарплатой.

Подождёшь его ещё пару лет
и узнаешь вскоре,
что на самом деле им был сосед —
энвэпэшник в школе.

Вспомнишь, как конфетами угощал
и журил нестрого,
но в квартире Тонечку прописал
из Владивостока.

Там уж и захаживать перестал,
а который — после,
похмелившись, в прятки с тобой сыграл —
не нашёлся вовсе.

* * *

В чужой квартире, в городе чужом,
где прошлое завешено бельём
и мебелью заставлено — в облезлой
хрущёвке, на четвёртом этаже,
где всё сбылось — мне нечего уже
нашарить в памяти нетрезвой.

Францев Александр Викторович — поэт. Родился в 1981 году в поселке под Архангельском. Работал грузчиком, кочегаром в котельной, разнорабочим на стройке, сторожем. Печатался в журналах «Двина», «Новый Мир», «Сибирские Огни», «Номо Legens», «Кольцо А». Живет в Архангельске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Там, в деревянной раме, круглый год
в окне затянут марлей небосвод,
и хмурый день насквозь прокурен.
На лестнице знакомая герла,
по кругу вермут из горла —
Кириллов, Мерц да Хабибулин.

Прими давай, наколки разверни.
Давно уж где-то сгнули они,
дурь нюхая в притонах гонорейных,
на скверных адресах родной страны
среди обкуренной шпаны,
не слышавшей о кушнерах и рейнах.

Лишь ты своё бубнишь который год.
И только прожитого полон рот,
как печень — давешней отравой.
А во дворе вчерашний снег горчит,
и ни одна звезда не говорит
над равнодушною державой.

* * *

Видно, не спрятать родимые пятна
за наготою листа,
вышед из литературы обратно
в гиблые эти места.

Грузчиком в «Макси», бабло на сберкнижку,
хату задёшево снять,
чтобы соседи, хватившие лишку,
выли за стенкой опять.

Отговорила и проч. золотая...
Да не пори ты херню,
тленья в промозглой дыре убегая.
Грузчиком значит? Ну-ну...

Заполночь в рифму бубня — не равно ли,
думаешь, где истлевать?
Это ли нам с тобой вешали в школе?
Полно бумагу марать.

* * *

Люди, обречённые на счастье,
обживают коммунальный ад.
Водку глушат, костерят начальство,
песни сдуру голосят.

В толчее томятся коридорной,
своей очереди ждут.
И сорвав крючок в уборной,
из петли соседа достают.

И какого, думаешь, рожна,
это что ли то, что мы хотели,
глядя в телевизор, где страна
вырасти не может из шинели.

Я не помню, чем она берёт,
и другой не знаю, где так больно
на разрыв черёмуха цветёт,
словно ей скомандовали: вольно.

Наталья Явлюхина

Точка невозврата

Рассказы

Октани

Первое сообщение от Октани мы получили ранним вечером тринадцатого мая. После ужина тетя с бабушкой отправились прогуляться под ручку до околицы и обратно по смутно-белой, как дневное сновидение, брошенной в пасмурные поля дороге — предполагалось, что в их отсутствие мы приберемся на кухне, а затем, вооружившись ковшом и коричневым бруском хозяйственного мыла размером с коровье сердце, вымоем, переругиваясь, ноги в страдающем ливедо овальном оцинкованном тазу.

«Помогите. Мы слишком долго летим. Помогите, я хочу писать», — выплыло из чесучового сумрака под вишнями. Мы с братом прочитали это одновременно и отложили хозяйственное мыло — от контакта с водой оно выпустило млечный одуванчиковый сок, в который тут же влипла муха — подальше, на доски за занавеску.

— Детский голос, — сказал брат. — Лет семь-восемь. Девочка.

А нам было двенадцать и четырнадцать, чем мы могли ей помочь? Но я вспомнила какой-то фильм, где сотрудница горячей линии для самоубийц разубеждала впавшего в интригующую задумчивость абонента вешаться на дверном крючке и говорю: «Успокойся и назови свое имя и возраст». В двенадцать меня вообще ничего не волновало, разве что вероятность загреметь в музыкальную школу или летний лагерь, и если где-то мучают кошку. Сейчас я бы так не смогла.

— Мне семь... или восемь, не знаю. Меня зовут Октани.

— Октавия? — заорал прямо в вишни брат, он явно этот фильм не смотрел.

— Октани, — поправила девочка и заплакала. И связь оборвалась.

В следующий раз Октани появилась через два дня, в то же самое время. Пока ее не было, я залезла в янтарный с черными подтеками румынский сервант, в глубине которого черемуховая пена оседала на сизых, как вареное яйцо на просвет, округлостях фарфора и стопках дедушкиных книг, и поискала в этих книгах что-нибудь о поведении детей в экстремальных ситуациях (если она использует напитанную водой многоярусную темноту сада в качестве проводника; если перед ее словами расступается замшевый

Наталья Явлюхина родилась в 1986 году в Подольске, окончила Литинститут им.А.М.Горького, печатала рецензии в «Знамени» и «Homo Legens». Живет в Москве.

В «Дружбе народов» ее первая публикация прозы.

Сергей Муратов

Два рассказа

Дёма

В метро Дёма бывал только с мамой, когда они ездили в гости к тете Наташе. Вообще-то его звали Андреем, но фамилия у него была Дёмин, и потому все звали его Дёмой. Даже его мама, но только когда сердилась. И ему нравилось быть Дёмой, да он и сам был, как это слово, — белобрысый, веснушчатый и ладный, как речной голыш. В метро Дёме ужасно нравилось, но тетю Наташу он не любил. Дёма хоть и был второкласником, но уже понимал, что никакая она не тетя, а дальняя родственница, а маме просто нужно занять денег до получки.

Тетка жила одна в большущей квартире, и все у нее стояло на своих местах, как в музее, а трогать ничего нельзя. Это бы ладно, но еще у тетки была старая визгливая болонка. Она выкатывалась из-под дивана, переворачивалась на спину и, дрыгая задними лапами, ждала, что ей будут чесать живот. И тетка умилялась, думая, что Дёме это очень нравится. А Дёма терпеливо чесал заросший желтой свалявшейся шерстью живот и мстительно воображал, как он встретит эту псину на улице. И тогда, тогда, животное, ты от Дёмы и на дереве не спрячешься! Ты же не кошка!

Но зато у тетки откуда-то были большие альбомы с морскими гравюрами и картинами. И Дёма подолгу разглядывал их. Вот плывут в бушующем море трое смельчаков, ухватившись за обломок мачты с красным парусом. Огромные волны бросают их с гребня на гребень, но они — отважные и сильные моряки, и погубить их не так-то просто.

А вот весь в дыму и в огне сражается парусный русский фрегат с целой эскадрой под флагами с хищным полумесяцем и звездой. Палят пушки, летают тяжелые ядра, свистят пули, гибнут в огне и тонут в пучине матросы и офицеры. Много пробоин в борту у нашего фрегата, одна мачта сломана, на двух других паруса пробиты и разорваны, прострелен и порван красивый Андреевский флаг. Но и у турок один большущий корабль уже тонет, и вряд ли там кто спасется, два корабля поменьше горят, а еще два уже повернули в свои турецкие свояси!

В вагоне метро было только два свободных места и в разных концах. Мама сказала Дёме, что он уже не маленький и посидит один, а она будет недалеко — вон там. И ушла. Дёме это очень понравилось, выходило, что он едет почти что один, как большой. Надо будет приврать друзьям, что они с мамой вообще в разных вагонах

Муратов Сергей Афанасьевич родился в 1967 году в Чебоксарах. Окончил Московский строительный техникум (1986). Автор сценариев к фильмам «Мешок», «Салам, Масква» и др. Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

ехали. Вагон мчался со свистом и скрежетом, за окнами было темно, только тянулись бесконечные провода. А окна в вагоне — как иллюминаторы у подводной лодки, и это, конечно, никакие не провода, а самые настоящие глубоководные водоросли. Дёма где-то читал, что в некоторых морях водорослей ужасно много, и за одну ночь они могут корабль так опутать, что ему уже и не сдвинуться.

Но подводная лодка — совсем другое дело, на такой скорости ей ничего не страшно. Любая глубина и любые водоросли — все нипочем. Дёма осмотрел команду вагона, и действительно — все были спокойны, а некоторые даже дремали. И тут Дёме захотелось сходить к маме. Нет, дела у него никакого не было, но ему ужасно нравилась сама идея: он едет в метро, у него есть свое место, и он даже может сходить к маме и вернуться обратно. Класс!

Но мама была все-таки не рядом, а вдруг его место займут? Хотя в вагоне почти все сидели, Дёма все же беспокоился, он же видел, как вошедший на станции военный занял место очкарика с букетом, который пошел посмотреть карту метро да так там и остался. Можно, наверное, кого-то попросить. Дёма посмотрел на соседей, но тетка, которая слева, уж очень была похожа на дворничиху Семёновну, а ту просить бесполезно. Сколько раз они всем домом плакали — просили не забирать котят у дворовой кошки Маруси. А сосед справа был вообще негр, и он спал.

Тогда Дёма слез с пружинистого диванчика и многозначительно оглядел всех, кто сидел на его стороне, а также и сидящих напротив, словно говоря им — вот видите, это мое место, я сейчас уйду к маме, а потом вернусь. Все тоже посмотрели на него, даже негр приоткрыл глаза и снова закрыл. Дёма решил, что они все поняли, и смело двинулся к маме.

В этот момент вагон сильно качнуло, и Дёме пришлось бы худо, не ухватись он за блестящие поручни капитанского мостика. «Что бы это могло быть?» — забеспокоился Дёма. Даже если это гигантский кальмар, все равно, главное, в такие минуты сохранять спокойствие и быть для команды примером. Твердо стоять на своем месте, будто ничего не случилось и все идет по плану. Дёма пошире расставил ноги, крепко сжал поручни обеими руками и бесстрашно посмотрел в иллюминатор — там была все та же бездонная пустота и виляли вверх-вниз толстые канаты водорослей. Вскоре вагон бросать перестало и движение выровнялось. «Наверное, прошли под стадом кашалотов, вот вечно они болтают своими хвостами», — подумал Дёма. Он отпустил капитанские поручни, засунул руки в карманы и вразвалочку, как матросы в фильмах, двинулся к маме. Но тут Дёма оглянулся на свое оставленное место, и на глаза мгновенно навернулись слезы. Нет, он не заплакал, но в груди зародилась и прочно сидела толстая, плакучая обида, готовая вот-вот прорваться наружу. На его законном месте сидела незнамо откуда тетенька в больших очках и в маленькой шляпке. На коленках она держала корзинку, покрытую клетчатым платком, из-под которого высовывал разбойную морду рыжий кот. Он подозрительно нюхал воздух и снова прятался. Дёма выпятил губу и решил, что до мамы он, конечно, дойдет, но возле нее точно расплачется. И тут подводная лодка на полном ходу вынырнула на поверхность. Мимо проносились кусты, за ними березовая роща, и солнце, пробиваясь сквозь деревья, залило все своим светом, и Дёмины слезы сами собой высохли. Он еще раз посмотрел на рыжего кота, на теткину шляпку, улыбнулся и по-матросски, вразвалку, пошел к маме. Она тоже улыбалась ему и вынула его руки из карманов, а Дёма нагнулся к ней и сказал: «Мам, а я тете с котом место уступил».

Ирина Костарева

Волосы

Рассказ

I

Горячей воды в квартире не было, поэтому летом мыться ходили на речку, а в межсезонье — к бабушке, которая держала у себя огнедышащий титан. Зимой никуда не ходили, а тянули из комнаты через коридор черный шланг и впускали в ванну горячую, высосанную из отопительных систем воду. Вода была желтая, и вылизанная ею керамическая лодка-ванна тоже быстро лишилась своей первозданной белизны — небольшая плата за возможность мыться в горячем. Бывало, натаскавшись по сменам, Галя устраивала себе релаксы: приносила из лесочка за огородами пахучие сосновые ветки и запаривала их кипятком. Алёнке такие дни были дороже праздников. Окутанные живым облаком хвойного марева, они делили одну ванну на двоих: расчесывали друг другу волосы, приправляли их шампунем и умасливали скидочной оливкой, экономно растирая капельку масла между пальцами.

Поле к зёрнышку,
Свет к солнышку,
Темя к гребешку,
А волос к волоску.

У Гали волосы черные и длинные — настоящие змеюки в запястье толщиной, но Алёнке материнских волос не досталось. Она родилась совсем лысая, а потом хоть и обзавелась волосиками, но тонкими и хрупкими, не то землистого, не то пепельного цвета. Одну-единственную отсебятинку отец даровал, и та нескладная.

Были у Гали волосы и в других местах (а у Алёны опять не было) — жесткие под животом и под мышками, тоненькие, вроде пушка, на руках и ногах. Женщина и девочка жили без мужчины, и ни к чему им было скрывать свое естество, выхолащивать себя до образа пластмассовой куколки. Так лежали они, каждая в своем углу лодки-ванны, каждая в своем теле — одна в назревающем, молодом, другая в дозревшем, спелом.

— А я буду такая же красивая, когда вырасту, мама? — спрашивала девочка, с интересом разглядывая материнское тело: овал живота и выступающие над водой гладкие камни груди.

Ирина Костарева родилась в 1989 году в п. Приволжский (Тверская область), окончила филологический факультет Тверского государственного университета по специальности «Журналистика». Живет в Москве.

— Ты будешь ещё красивее, — отвечала Галя.

Удобрённая лесным духом вода ворчала и убегала в вонючий слив, а вместе с ней бежали дни: сначала одной общей жизни, а потом двух разных. Девочка скоро своими нательными волосиками обзавелась, а женщина стала их срезать под корень — появился в ее жизни мужчина, разнорабочий с именем Максуд, что значит «желанный».

Максуд приехал из утопленного в солнце Азербайджана, куда каждый месяц исправно высылал большую часть небольшой зарплаты — там остались жена и две дочки на выданье. В черных Галиных косах он видел полосы чернозема на окраине родного села, в молодом светлом лице — полуденное солнце, а в губах — и вовсе женины алые губы, и была она для него не сообщницей в измене, а живой памятью о семье и доме. Гале Максуд тоже служил напоминанием — о красоте и молодости, которых все еще было у нее в достатке. Оберегая свою тайну, они любили друг друга, хороня крики и стоны внутри себя, тихо и неистово, как пляшет на степном ветру пламя вечно горящей горы Янардаг. Гале такая любовь была в новинку и, распробовав ни к чему не обязывающее удовольствие, она с удивлением открывала возможности своего и чужого тела.

Последние пятнадцать лет женщина работала на заводе: в девяностые здесь разливали водку, но когда старое здание выкупил богатый москвич, начали делать другое сомнительное лекарство — гомеопатические мази, которые потом развозили по московским аптекам. Единственная в районе работница с образованием биохимика, Галя сама варила смеси, раскладывала их по баночкам и клеила этикетки. Большое заводское здание работало только на четверть — остальные помещения пустовали. Западные окна последнего этажа выходили на застроенный старыми лодочными гаражами берег реки и, налюбившись, Галя и Максуд выходили смотреть, как солнце поджигает макушки сосен на том берегу. Он читал ей по памяти:

— Мне каждый день беду сулит волна твоих волос, источник счастья и обид, волна твоих волос¹.

В один из таких дней они увидели зверя. Озираясь по сторонам, он пробирался между ржавыми ракушками, не ведая как выдает его золотистый луч, выхвативший поджарую фигурку из темноты, отметивший ее. Это был лис. С тех пор они видели его постоянно, и скоро Максуд начал потихоньку ходить к гаражам и оставлять зверю еду. Вечерами, прощаясь с бабами, Галя спешила неприметной тропкой к реке и часто заставляла их вдвоем — мужчину и лиса, который благодарно верил свою жизнь человеку.

— Вот погляди, опять пришел, — как бы оправдывался перед Галей Максуд, жестом показывая в сторону куста, где прятался лис. Так извинял он и себя, не устоявшего перед непрошенным подарком судьбы, пусть оно и претило его природе — не зверя, но мужа.

II

Замещенная в Галином бытии Максудом и впервые за жизнь предоставленная себе, Алёнка проводила свободные от школы отрезки дней, впервые осознавая свою некрасивость. В спальне, стащив с себя ситцевое платье, она подолгу всматривалась в зеркало шифоньера. Не сбылись материны предсказания — девочка пошла в отца. Странно это было: походить на неведомого человека, существовавшего за пределами знакомой реальности; странно и несправедливо, как и не походить на женщину, в чьей утробе оформилась, плоть от плоти которой появилась на свет, под чьим взглядом

¹ Цитата из стихотворения средневекового азербайджанского поэта Хабиби в переводе Татьяны Стрешневой.

Александр Амчиславский

МЫ ЖИЛИ ТАМ

* * *

Нас было много — безымянных,
слова ловивших на лету,
иванов бен-ионафанов,
уже не помнящих беду,
мы, бог не выдал, умещали
себя самих под образа,
и пахла пряником и щами
простая девичья краса,
она плыла забытой манной,
и мы, голодные зэка,
перешивали наши ямбы
под местный выкrest языка,
блаженствовали и слабели
в одной из лучших из неволь,
лишь бедный гений еле-еле
ещё поддерживает боль,
ещё подначивает, ноет,
как будто в силах ускакать,
и бродит призрак метанойи
у шконки старого зэка.

* * *

А прошлое кончилось. Если и было, то сплыло —
к далёкой, ну скажем, стране заходящего ила
тугие несёт короба,
а тут, как ребёнка за руку, к родимому парку,
где тварное счастливо бродит и дышит попарно,
подводит тропа.
Да, прошлое кончилось. Если и было, то сплыло,
поспел пирожок настоящего с жару да с пылу,
зовёт среди белого дня,
авось кто из певчих, знакомый с тоской горловою,
усядется рядом и звякнет ответной любовью,
увидев меня,

Александр Амчиславский — поэт. Родился в 1958 году в Москве. Окончил филфак пединститута, учился в Академии Художеств им.И.Е.Репина (Ленинград). Работал учителем, художником-реставратором в Политехническом музее. В 1990—1998 гг. жил в Израиле, с 1998-го — в Канаде. Лауреат премии Эрнеста Хемингуэя (Торонто) за сборник стихов «За тонким полотном» (М., 2017), премии Дон Кихот (Барселона) за сборник стихов «Узлы мирские» (2019).

так не было раньше, а может и будет-не будет
в каком-нибудь времени, городе, временном пункте,
в лесу ли весеннем от сока, на полном газу,
когда-никогда, распахнувшись, как двери в парадном,
и светом сыграет попутным, и светом обратным
хрусталик в глазу.

Романс

Стоим и стоим на проходе,
приличья пытаюсь блюсти,
едва ль о кино и погоде
сумею беседу вести,
такой разговорец едва ли
отныне возможен для нас,
пока мы, касаясь губами,
молчим, шелохнуться боясь,
и оба, ей-богу, впервые
угадываем по губам
признание, что нет, не любили
да, в общем, и не жили там,
где было по сосенке с бору
на месте родного угла,
и вдруг с Божьей помощью скорой,
как будто в чём мать родила,
мы встали друг друга напротив
и, веря, что это не сон,
ни глаз и ни губ не отводим,
да так, что светлеем лицом,
да так, что не страшно, не страшно —
пока я с тобой, ты со мной,
и всё, что возможно, подаждь нам
Ты ради любви самой.
Мы сядем под липой столетней
у синей реки на виду,
и лодочки узких коленей
с ладоней моих уплывут.

* * *

Маленькая женщина курит кэмел и не любит духи,
предпочитает чёрную обувь и рубашки навыпуск,
пишет мужские стихи
и не прячет большие руки и неправильный прикус.
Маленькая женщина рубит слова кубиками на борщ,
ни длиннот, ни платьев, ни серёг висячих,
нимф убегающих, свирелей из раскидистых роц —
ничего, только суть, которая значит.
Ночью, пока над ней трудится муж,
она подсчитывает ударные в строчке и дни до паузы,
потом размышляет, уже спиной к нему,
о неслышанной простоте и неизбежности мужской клаузулы.
Под утро кофе, блокнот, кэмел и тот же горб,
маленькая женщина у окна в халате —
я всё такая же, Господи, с давних пор,
только, ради бога, скажи — чего ради.

* * *

Уезжать возвращаться
только даты менять
ни единого шанса
у тебя у меня
что в отлучке что подле
на спокойном огне
концентрация боли
выше света в окне
из которого камнем
безупречен полёт
и чужая слеза мне
что мышиный помёт
что мышинная сладость
половицей шуршать
в находящую старость
первым делая шаг
от порога до бога
под ногами слюда
ни трубящего рога
ни греха ни стыда
над кирпичной равниной
тот же воздух на вид
ни ствола ни трамплина
для последней любви.

«Песни, песни, о чём вы кричите?..»

*Сергей Есенин в эпоху новой политкорректности,
аватарок и эмодзи*

В заочном «круглом столе» «ДН» принимают участие:

*Иван ВОЛОСЮК, Надя ДЕЛАЛАНД, Бахыт КЕНЖЕЕВ,
Константин КОМАРОВ, Марина КУДИМОВА, Анна МАРКИНА,
Роман РУБАНОВ*

Иван Волосюк, поэт (г.Донецк)

Поэтическая эпидемия

Поначалу я категорически отказывался сделать для «Дружбы народов» даже пару абзацев текста о Сергее Есенине. Действительно, что можно прибавить к сказанному специалистами по теме — тем же Захаром Прилепиным, написавшим о советском классике несколько солидных томов (и книгу, вышедшую в серии «ЖЗЛ»)? Тем более, что с отношением к Есенину у меня, говоря языком социальных сетей, «всё сложно».

В таких вещах обычно не признаются, но одно стихотворение Маяковского «Сергею Есенину» мне всегда казалось более ценным литературным событием, чем само творчество Сергея Александровича. Не знаю, насколько корректна эта аналогия, но живет же в Екатеринбурге (и пишет замечательные самобытные вещи) поэт Дмитрий Рябоконь. А между тем широкому читателю он известен прежде как персонаж хрестоматийного стихотворения Бориса Рыжего — и с этим ничего нельзя поделать. Логику примерно такого восприятия поэта через другого поэта я распространил и на Есенина.

В провинциальном шахтерском городке, где я жил до поступления в университет, была литературная студия, которая называлась (вы никогда не догадаетесь!) — «Муза». Одним из студийцев был слепой композитор и поэт Евгений Седнев, очень добрый и, несомненно, талантливый человек, к сожалению, ныне покойный. Мне, молодому и дерзкому стихотворцу, казались чрезмерно незамысловатыми такие строки «дзержинского Гомера», тем не менее, в память врезавшиеся (цитирую их неточно).

...Что я не Маяковский, не Есенин,
Не Лермонтов и даже не Шукшин.
Какое твоё место, Е.Седнев,
В когорте поэтических вершин?

Почему же меня тогда не раздражали многочисленные попытки подражать Мандельштаму (в том числе собственные), но просто взрывала «есенинщина»? Два десятка лет я бежал от Есенина, выбирая себе в качестве титанов, на плечи коих имеет смысл взгромоздиться, сначала Осипа Эмильевича, а затем Бродского, Чухонцева, Гандлевского, Цветкова или Веденяпина.

А как быть с тем, что в программном тексте Цветкова «Было третье сентября...» явственно присутствует прямая отсылка к «последнему поэту деревни? Сравните «со святыми не пойду/соглашаюсь жить в аду» и «Я скажу: «Не надо рая,/Дайте родину мою»?

Давид Самойлов говорит о «ста тыщ графоманов» и несметных полчищах одиноких девиц и влюбленных юнцов, сающихся писать стихи, но не создающих ни единого стихотворения. Мы понимаем, что большинство из них рифмует в столбик «под Есенина», и в силу заразительности (в рамках тех же литстудий) это явление давно призывают признать национальным бедствием, этакой «поэтической эпидемией». И виноват в этом не Есенин.

Одному донецкому ученому-филологу принадлежит следующее афористическое высказывание: если некий прибор показывает, что высшей точкой Кавказа является Машук, а не Казбек, значит, этот прибор испортился. Когда мне было 16 лет, мне в руки дали книжку «горняцкого лирика» Виктора Руденко и посоветовали использовать ее в качестве проводника в мир поэзии. Представляю, в какие болота вторичности молодого поэта может завести такая «путеводная звезда». А ведь тысячам начинающих авторов на местах (где имя Есенина используют, как знамя) в качестве вершин предлагаются Машуки, а нередко и расположенные по соседству холмы и пригорки. Вот это уже — настоящая проблема, и о ней нужно говорить со страниц литературных журналов и в юбилейные, и неюбилейные годы. Говорить неустанно.

Надя Делаланд, поэт (г.Москва)

Каминг-аут о Сергее Есенине

За Серёгу Есенина или Андрюху Шенью
По традиции пропили очередную зарплату.

Сергей Гандлевский

Лет в девять я принялась увлеченно осваивать поэтов, которые входили в круг читательских предпочтений моей мамы: Омара Хайяма, Расула Гамзатова, Евгения Евтушенко и Сергея Есенина. Мама активно отрекомендовывала мне их как хороших, а я была исключительно послушной и прилежной девочкой: сказали — хорошие, значит, надо их внимательно прочесть. И я читала каждую книгу от корки до корки с карандашиком, и, конечно, ценила афористичность Хайяма, по-разному дидактический месседж Гамзатова и Евтушенко, напевность Есенина, но смутно ожидаемого от великой поэзии озарения не испытывала.

И теперь, оглядываясь назад, я думаю, что с первыми тремя все более-менее понятно — их стихи были рассчитаны на рациональное восприятие, обращены к логическому мышлению и не предполагали никакого особенного выхода за пределы самостождественности. Но что с Есениным? Он же — другой.

Вот я все время ратую за то, чтобы рацию не опережало более глубокого и целостного восприятия стихотворения, чтобы прежде, чем научиться понимать поэзию, мы научились ее не понимать. И, казалось бы, стихи Сергея Есенина так

напрямую апеллируют к чувствам, настолько контр-интеллектуальны, что я могла бы часто прибегать к ним на занятиях арт-терапией. Или хотя бы просто любить. Однако этого не происходит. В чем тут дело?

Во-первых, ум никому не обещал, как ни парадоксально, быть умным. Ум может быть всяким. Здесь маленькая языковая ловушка, ложный друг переводчика на язык смыслов, но мы в нее не попадем. Стихотворение, обращенное к рациональному сознанию, не обязано быть перегружено различными философскими кунштюками. Вполне довольно, чтобы оно просто включало причинно-следственные связи, то есть само содержало эти связи на уровне, скажем, истории, сюжета («Песнь о собаке», например).

Во-вторых, идя в обход рационального сознания, стихотворение должно заключать в себе на языковом и просодическом уровне нечто большее, чем поверхностная смысловая канва. Иначе ему просто будет нечего предъявить тому, кто его читает. И стихи Есенина содержат это большее, но оно залегает не в области компрессии смыслов, а в сфере чувств и эмоций. То есть стихи Есенина «подключают» читателя не столько через логику, сколько через эмпатию, способность сопереживать, узнавать и подхватывать в эмоциях, транслируемых поэтом, собственные. Для меня многие стихи Есенина в этом смысле избыточны — отпущенная мне природой впечатлительность не позволяет получить эстетической наслаждение от боли. Мне кажется, все это предназначено менее чувствительному читателю. И я даже подозреваю здесь некоторую подмену — возможно, эти стихи и не планировали доставлять эстетическое наслаждение, их целью было тронуть любым способом. И разные способы достижения чувств читателя в определенном смысле служат компенсацией дефицита художественности.

Эмоции, заложенные в поэтическом тексте, могут и часто оказываются мостиком, ведущим к максимально полному совпадению со стихотворением, но, на мой вкус и мой взгляд, маловато, когда этот мостик никуда не ведет, когда он самоцель и основная ценность. Все, что открывает такая поэзия, и так открыто, она просто напоминает нам о нас, о нашей способности чувствовать (что тоже, конечно, много и для многих актуально), но не обнаруживает новых смысловых пространств, не создает смыслового приращения.

Должна признаться, что не только поэтому я так и не сумела полюбить поэзию Сергея Есенина. Хотя, в первую очередь поэтому. Еще он не близок мне по складу личности. Хотя и Марина Цветаева не близка мне, но в ее случае гениальность затмевает и оттесняет все несовпадения, они перестают иметь значение. А в случае с Есениным несовпадения ощущаются первостепенно, что тоже о многом говорит.

Правда, я знаю для себя один способ отнестись к стихам Есенина теплее. И я его тайно практикую. Нужно просто начать считать их песнями. Тогда для меня все становится на свои места, преображается и сияет.

Бахыт Кенжеев, поэт, прозаик, эссеист (г. Нью-Йорк, США)

«По трагедийности не уступает Блоку»

Разный поэт Есенин. Начиная с милого лубочного патриотизма (которым, собственно, и купил петербургских высоколобых), поиграл с мистикой (довольно, впрочем, наивной), на некоторое время надел, как у Высоцкого «маску алкоголика», придумал какой-то смешной «имажинизм», попробовал эмигрировать в «железный Миргород» — и так и остался в русской литературе голубоглазым, черно-белым, простодушным юношей, эдаким русским Робертом Бёрнсом.

Он и сейчас знаменит, во всяком случае, среди читателей постарше, но проходит скорее по ведомству шансона. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» — поют под гитару. И никто, кажется, не замечает, что эти стихи — гениальный римейк еще более классического лермонтовского «Выхожу один я на дорогу».

Я к тому, что Есенин глубже и сложнее, чем представляется широкой аудитории. В лучших вещах он маскирует истинную трагедию мелодраматическими интонациями и «народными» образами, но по трагедийности не уступает Блоку (которого тоже когда-то любили за побрякушки типа «девы радужных ворот» и прочих «чёрных роз в бокале»).

«Пугачёв» и «Чёрный человек», несомненно, написаны великим поэтом. Да и что греха таить, пронзительных лирических шедевров у Есенина тоже хватает. Что до привкуса жестокого романа под балалайку — это такой художественный прием, к нему привыкаешь быстро.

Добавлю еще, что при всем своем житейском разгильдяйстве Есенин на редкость точно обозначал свою, так сказать, гражданскую позицию. Понятно, что «не расстреливал несчастных по темницам», а вдобавок «отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам», да и «задрал штаны, бежать за комсомолом» через сто лет звучит куда привлекательнее, чем модное в ту эпоху воспевание «чекистов и рыбоводов».

Словом, Есенин по-прежнему входит в число лучших русских поэтов прошлого века. И, в виде бонуса, запредельно популярен в интернете. Ну и слава богу.

Константин Комаров, поэт, литературный критик (г.Екатеринбург)

Встреча впереди

«Сергей Есенин» — неизменный ответ отечественного коллективного бессознательного на запрос «русский поэт». Думаю, чаще на этот вопрос отвечают только именем Пушкина, да и то — не факт. Но «перекликаются» ли «в наступивших сумерках» (а они, очевидно, наступили) Есениным, подобно тому, как перекликались, по словам Ходасевича, в начале двадцатого века именем Пушкина? Думается, что нет. Не уверен, что в нынешних «сумерках» вообще «перекликаются», и уж совсем маловероятно, что именами поэтов.

Всенародная любовь к Есенину столь же обширна, сколь и поверхностна, ибо основана на мертворожденных стереотипах и клише. Любят не Есенина, а его образ, надо сказать, любовно выпестованный самим поэтом. Есенин, пожалуй, первым в русской поэзии (в прозе — Горький) проявил себя талантливым имиджмейкером, сознательно и последовательно «делавшим» свою биографию, создававшим автомиф. Есенинолюбывы привычно умиляются матери-старушке в «старомодном ветхом шушуне», не задумываясь, почему бы биографическому лирическому герою не купить матери (а гонорары и кафе «Стойло Пегаса» с кинотеатром в собственности — позволяли) новомодный, шегольской «шушун». Восхищаются верности поэта своим крестьянским корням, не сильно переживая, что родное Константиново Есенин навещал по большим праздникам, смертельно там скучал и при первой возможности возвращался в столичную пучину со всеми её губительными соблазнами: такую показательную «поездку» на малую родину, начавшуюся и завершившуюся пьянкой на московском вокзале, описывает Катаев в замечательной книге «Алмазный мой венец».

Значение же Есенина для многочисленных самодеятельных стихотворцев «от сохи» и вовсе трудно переоценить. Эти авторы бесконечных сочинений о живородящей пшенице, рожавшейся ржи и прочих дарах матушки-земли любят «рязанского Леля» исключительно за то, что он является бессрочным легитимизатором их собственной графомании. «Под сенью» Есенина пышным цветом расцветают самопальные премии, в положениях которых обязательны «следование традициям русской классической поэзии», «нравственные ценности» и пр., а в их названиях звучная фамилия Есенина истрёпана уже до полного неприличия. Кстати, интересно: столь же б сильно любили бы Сергея Есенинова — именно такая фамилия была у его предков, и сокращение на слог произошло по чистой случайности (но поэтам Серебряного века вообще с фамилиями и их органичностью стихам повезло, и Есенин здесь — не исключение).

Есенин считается простым поэтом, внятным сердцу человека «из народа», и мало кто задумывается о сложной, модернистской структуре даже самых растиражированных его образов (вроде «зёрен глаз» или «сини, сосущей глаза»), не говоря уже о поэмах начала 1920-х годов, вроде «Сорокоуста» или «Кобыльих кораблей», чья сюрреалистическая образность даст фору многим авангардистам. Вспомним хотя бы знаменитый зачин «Чёрного человека»: «Голова моя машет ушами,/ Как крыльями птица,/ Ей на шее ноги/ Маячить больше невмочь». И пусть графологи до сих пор спорят — «шее ноги» или «шее ночи», психоделической мощи образа это не отменяет. А «деревья, как всадники, съехались в нашем саду» вообще представляется мне одной из самых страшных строк в русской поэзии. Далеко от сюсюкающего умиления исконной-посконной Русью, согласитесь...

В общем и целом массовую рецепцию творчества Есенина подытожил ещё Евтушенко во вступлении к поэме «Братская ГЭС»: «Есенин, дай на счастье нежность мне/ к берёзкам и лугам, к зверью и людям// и ко всему другому на земле,/ что мы с тобой так беззащитно любим». Вот этой нежностью, тем, что «братьев наших меньших никогда не бил по голове» и мил Есенин до сих пор русскому сердцу. А что людей он любил не так сильно, как животных (измывался, например, над беззащитным Хлебниковым, торжественно вручив ему кольцо Председателя Земного Шара, а потом под гиканье и улюлюканье сотоварищей-имажинистов отобрав, заставлял «плясать» несчастную Айседору и т.д.), — это ладно, это проходит по разряду стихийности и «широты — я бы сузил — русского человека», жизнотворчества, смертостроительства и героического самосожжения.

Всё это я только к тому, что прежде, чем любить (или ненавидеть) поэта, надо попробовать этого поэта понять. Разобраться в трагических противоречиях личности и судьбы Есенина, уяснить подкладку его послереволюционной раздвоенности («остался в прошлом я одной ногою»), отчаянную обречённость желания «задрать штаны бежать за комсомолом». Прочувствовать всю эту тяжелую «выбель-гибель», чарующим и пугающим маревом окружающую многие строчки Есенина. Такое понимание даст объёмную фигуру поэта, и уже по отношению к ней можно спокойно определяться в любви-нелюви. Но к такому пониманию нынче, по моим ощущениям, мало кто стремится. Гораздо проще и душеполезней воздыхать над глянцевыми берёзками, которые Есенин «отработал» еще в юности — в стихах типа «Родился я с песнями в травном одеяле, воды меня вешние в радугу свивали»...

Только так может произойти полноценная встреча с поэтом, которую он предсказывал в предсмертных строках: «Предназначенное расставанье обещает встречу впереди». Пока до этого далеко, о чем свидетельствует хотя бы невыносимая пошлость открытого к 125-летию поэта в Москве памятника. Это памятник не поэту, а поверхностности и дежурности отношения к нему. Пока большая часть почитателей таланта Есенина недалеко ушла от его разной степени безымянности дружков-собутельников, окруживших его дешёвой, удушающей лестью («Серёжа — ты наш гений», «Серёжа, ты всех съешь»), цель которой замыкалась на халявной выпивке.

Таких «поклонников» прекрасно представил Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину»: «к решёткам памяти уже понанесли посвящений и воспоминаний дрянь». Маяковский, хоть и был главным эстетическим оппонентом Есенина (называл его «из хора балалаечник», цикл «Персидские мотивы» окрестил «восточными сладостями» и т.д.), но как большой поэт к гибели другого большого поэта отнёсся с живой болью. Потому что понимал.

Но не будем отчаиваться: в конце концов, фигуру Николая Некрасова актуализировали, казалось бы, бесконечно далекие от него символисты, уловившие и расслышавшие изощренность его поэтической просодии. Может быть, и к Есенину найдутся ключи с самой неожиданной стороны, и «встреча впереди» произойдет. Большой русский поэт Сергей Есенин этого заслуживает.

Марина Кудимова, поэт, переводчик, литературовед (г. Москва)

Иль вас не стряхнуть?

«Нигде, кроме как в первом томе», — мрачно шутили в моем молодом филологическом окружении о Маяковском. «Везде, кроме как в первом томе», — так можно перефразировать бесцеремонный каламбур, формулирующий тогдашнее наше отношение к знаменитому пятитомнику Есенина 1961—1962 гг. В библеизмы и мифопоэтику его ранних стихов я погрузилась гораздо позже. Не скажу, что полюбила, — слишком много насчитала влияний. К тому же в «Библиотеке поэта» малыми дозами вышли корифеи Серебряного века и выстроились аналогии. Но, кажется, кое-что я поняла — и в Есенине, и в себе.

Касаемо рассыпающихся на блоки от зачитанности остальных томов заветного малоформатника, к ним в пору моего отрочества применим анамнез Ю.Мамлеева из «Крыльев ужаса»: «...есть лишь два писателя, которые могут довести до сумасшествия... Достоевский и Есенин. Причем на почве Есенина больше. У нас есть целая группа детей, возраст примерно 14-15 лет... Вся их жизнь проходит в том, что они до конца погружены в поэзию Есенина. Они не хотят жить, не хотят что-либо делать, кроме того, чтобы читать наизусть стихи Есенина... Они читают эти стихи целыми днями, плохо спят, встают по ночам и тоже читают вслух или про себя стихи, бродят по палате, что-то думают. Их очень трудно вывести в мир, почти невозможно. Что-то надорвалось в их душе от этой поэзии...»

Трагедия самого Есенина и драма «бродящих по палате» недорослей имеют общую природу, хотя и разную результативность. Это последовательное жертвование начатками духовного в пользу душевного в поиске «истинных чувств». Человек в стадии молочной спелости остается наедине с собой — или со стихами поэта, с которыми он себя отождествляет, без всякой метафизической защиты. Сумасшедших как в России называли? Правильно: душевнобольными. Дохождение до нерассуждающего фанатизма в конце предыдущего века случилось в отношении Надсона. Он далеко уступал Есенину в даровании, но интенции совпадают.

Роковой надлом в Есенине произошел после весьма удачной — можно сказать, триумфальной поездки в Петроград. Внутренней трещине сопутствовал резкий версификационный скачок. Слабое и вторичное «Наша вера не погасла» с декларацией «Не одна ведет нас к раю/ Богомольная тропа» соседствует с уже вполне есенинским по поэтике «В том краю, где жёлтая крапива»:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
 Что я сердцем чист.
 Но и я кого-нибудь зарежу
 Под осенний свист.

Написаны два стихотворения в одном и том же году — 1915-м. Причем второе предопределило неиссякающую любовь к Есенину «блатных», отмеченную еще В.Шаламовым, и следом за ними — стремительно приблатняющейся интеллигенции. Всего через три года бывший «смиранный инок», ныне — «пророк Есенин Сергей» напишет «Инонию» с исторгнутым причастием. «Железный Миргород» с рацпредложением оборудовать в церквях отхожие места появился в 1923-м. Предложение в целом было встречено заинтересованно и нашло широкий отклик.

«Есенин никого не любил, и все любили Есенина», — сказал Мариенгоф. Поди проверь, насколько прав был лучший друг и что было лицом, а что маской — «хулиган» или «вербочный херувим». В 60—70-е годы, в только начинающем ионизироваться религиозными порывами воздухе проникновенность Есенина заполняла вакуум «научного атеизма».

Почему именно Есенин с его скандальной славой и поэтикой, мечущейся от символизма к имажинизму и от традиционализма к романтизму с приставкой «нео», сделался образцом для сонмов лишенных дара, но инфицированных вирусом знаменитости? Может, они сосредоточились как раз на первом томе? Или выбрали наугад только «Стихи скандалиста»? Нет, дело здесь явно не в легкости имитации стиля и способа рифмовки. Никто не зацепит, как «Отговорила роща золотая» или «Ты запой мне ту песню, что прежде...», хотя, казалось бы, все лежало в свободном доступе. И не в «простоте языка» секрет. Что, например, означает в стихе, ставшем заголовком опроса, глагол «кричите»? Усиление голосового сигнала? Лишь отчасти. На Рязанщине «кричать» — синоним «плакать». «Простота» в хороших стихах вообще иллюзорна, манипулятивна, рассчитана на незаметное эмпатическое подключение, а у Есенина она еще и часть личного мифа. По силе душевного импульса его в XX веке не превзошел никто. Черный человек, несмотря на все уловки, не одержал окончательную победу. Но приемы его стали куда изощреннее. «Желтый тлен и сырость» (столько, сколько Есенин, о смерти мало кто размышлял и писал) подернули таинственный орган восприятия поэзии, оставленный человеку после потери Бога.

Что же ожидает эту поэзию в прекрасном цифровом мире, первым делом снова ревизующем Бога, а заодно и глушащем эмоции и равнодушном к любой смерти, кроме своей? Вопрос, звучащий в стихотворении 17-18 годов, с каждым днем становится актуальнее: «Песни, песни, иль вас не стряхнуть?..» И все чаще мнится, что очень даже «стряхнуть!» Что «лирическое чувство», по самоаттестации Есенина, да и простая эмоциональность иссякают, словно Аральское море. Что визуализация и осмайление «контента» уводит от подарка солунских братьев Кирилла и Мефодия к блогговому асемическому письму, лишенному как смыслового, так и тем более чувственного содержимого. Но задушевность по-прежнему растворена в русском пространстве.

«Его не вырвешь из полей и рощ», — заметила в разговоре Анна Ахматова о Есенине. И мы любим его не за то, чего он лишил себя и чего мы сами охотно лишились, а за то, что он такой страшной ценой, так безоглядно саморазрушительно отдал нам. Более того: мы вдолгую живем в мире есенинских образов, даже независимо от того, любим ли его. Борис Примеров сказал:

И грустят мои мгновенья,
 Улыбаются века,
 Как задумал их Есенин
 Издалёка-далека...

Анна Маркина, поэт, со-редактор журнала «Формаслов» (г.Люберцы)

Месторождение русской души

Пожалуй, нет для русского народа поэта более драгоценного. Его учат наизусть школьники, цитируют трактористы, носят у сердца влюбленные женщины и исполняют рок-звезды. Если пытаться ассоциировать с камнем или металлом, поставить в ряд, где цветаевские стихи — рубиновые, пушкинские — увесисты и прозрачны, как хрусталь, тянутся фарфоровые строки Гумилева и бьет плотная мандельштамовская нефть, стихи Есенина — чистое речевое золото. Месторождение самой русской души.

У нашего журнала есть канал на «Яндекс-Дзене». Среди сотни постов на разные темы самый популярный материал — статья о Сергее Есенине. В то время, как обычные новости набирают тысячи-десятки тысяч показов, эта скоро переберется за пятьсот тысяч. Полмиллиона показов. Настоящее поле боя в комментариях. Ломаются копья, звенят кольчуги рифмованных переживаний. Развертываются фантазмагорические вариации на тему смерти поэта. Люди не могут вынести упоминания о том, что медицинский эксперт А.Г.Гиляревский 29 декабря 1925 года указал: смерть наступила от асфиксии через повешение. Людей возмущает не только версия о самоубийстве сама по себе, но и просто упоминание конца. «Зачем вы включили это в биографию?» — с искренним непониманием возмущались наши читатели. Это как будто чужой прикоснулся к урне с прахом близкого родственника или потоптался на отцовской могиле. Любовь народа — как наводнение, она смывает все, не разбирая дороги. Есть только ослепительный высокий образ певца несвятой Руси, удальца и хулигана, романтика и светлого отрока, ведущего спор с божественной тайной.

Серебряный век подарил нам столько больших имен! Почему же широкое всенародное признание обрушилось именно на Есенина? Разве мало в русской поэзии узнаваемых подробностей быта, «калиток осеннего сада» и «опавших листьев с рябин»? Разве мало «голубого огня», лебединых рук и «нежностью пропитанного слова»? Что же тогда? Надлом и боль, эхом отдающиеся в читателях? Но первая половина XX века вся есть открытый перелом на теле прежнего мира. Время, ошпаренное революциями, войнами и репрессиями. Разве мало боли и тоски об идеальном мире у других? Очень даже много. Но, может быть, с меньшим количеством тепла? Есенин не просто фиксирует солончаковую тоску, которую тащит с собой через всю жизнь обычный русский человек, он протягивает ему руку, он не бросает своего героя наедине с тоской, а окружает его сочувствием. Он признает в себе темную сторону, черную человечность и рогожинскую готовность зарезать того, кто ближе.

Мы рождаемся с болью и с болью идем к свету по «богомольным тропам». И спустя век большинство из нас продолжает жить среди драк, кабаков, изб и подгнивших крестов. Именно про эту больную Русь есенинские «ветровые песни», как можно было бы их окрестить по Блоку. Песни от земли до неба. Где непутевая жизнь окрыляется раскаянием. Где интонация теплой грусти окутывает весь живой мир: небитых тварей, милых птиц и щенков в мешке. Лирический герой марширует неприглядной дорогой к выстрадавшему прощению и ему сопутствует божественное: молитвословный ковыль, «скит синих рощ», «чисточетверговая звезда». Он продолжает идти, «радуясь, свирепствуя и мучась». И несет в себе большую, сокрытую, околоселянскую веру в то, что придет он «по равнинам к правде сошьяго креста».

И до тех пор, пока мы не вырастем, на научимся жить спокойно и счастливо, не «терять свою жизнь без оглядки», Сергей Есенин будет с нами. Золотой отблеск, осеннее предчувствие гибели и весенняя надежда на преображение.

Роман Рубанов, поэт, режиссёр (г. Москва)

Знакомый ваш Сергей Есенин

«Знакомый ваш Сергей Есенин» — название не оригинальное. Это уже штамп №339. Но другого названия для спектакля у меня не было. В этом названии сошлись узнаваемость (знакомый) и неизвестность (а знакомый ли?). Зритель ожидал стандартный набор текстов памятных со школьной скамьи, перепетых эстрадными исполнителями, прочитанных артистами... А тут — он столкнулся с другим Есениным. Не с тихим и ожидаемым лириком, плачущим о деревне, вместе с клином журавлей пролетающим над полем, а с... ну, можно сказать, что жестоким, жестким, ироничным... Я должен был огорчить зрителя, что спектакль, с моей точки зрения, совершенно не дает представления о Сергее Есенине. Потому что это не истина, это попытка подсказки, попытка помочь в подборе ключей к сердцу поэта, которое, конечно, есть его стихи.

Итак — выбраны тексты, определены персонажи. Персонажей двое: Есенин и Бениславская. Почему Бениславская? — спрашивали меня много раз. Почему не Мариенгоф? Потому что хотелось хотя бы здесь, раз уж в названии не удалось, уйти от штампа. К тому же мне важно было, чтобы зритель увидел поэта одновременно и глазами поэта (самого), и глазами женщины, его любившей. Есть в спектакле и мать Есенина, но она нарисована условно, как и должно быть в театре, без явного натурализма и излишней ботаники. Зритель (я имею в виду профессионального зрителя) поймет, что натурализм к искусству никакого отношения не имеет. Как говорил Михаил Чехов: «художник ничего не может привнести от себя в натуралистическое “произведение искусства”», задача его при этом «ограничивается умением более или менее точно скопировать “натуру” и, в лучшем случае, привести в новое соотношение то, что существовало и существует без него, вовне. Он поймет, что заниматься натуралистическим искусством — это быть не более как фотографом “натуры”. И безотраднa будущность натурализма в театре». В театре всё условно. Но вернемся к этому позже.

Диалог с матерью происходит примерно так: Есенин сидит спиной к зрителю, мать — лицом. Она читает письмо — «...если можешь ты, то приезжай...» Происходит диалог с пустотой. Потому что для Есенина (моего) нет матери. Уже нет. Нет ничего. Она говорит в пустоту. А он говорит со временем, с которым не может никак договориться.

В другой сцене, где он возвращается «в край осиротелый», у него происходит еще один разговор, но уже с двумя временами одновременно, с двумя странами. В момент, когда «крестьянский комсомол» отплясывает под «агитки Бедного Демьяна» (аранжировку я взял современную), Есенин говорит: «Вот так страна...» — и говорит он не только РЭСЭФЭСЭРУ, но и современной России. В которой ничего не изменилось с тех пор. Агитки актуальны, они на слуху, они легко воспринимаются. А поэзия... что поэзия? Поэзия — это о другом.

Условность пространства была решена множеством вешалок. Это символ. Не нужно обживать комнату рукоюником, патефоном, окном с занавесками. Вешалки. Это говорит зрителю и о судьбе поэта, и о судьбе эпохи в целом. Изначально я хотел их подвесить, но технические особенности малой сцены не позволили. Я всегда стараюсь уходить от натурализма. Вообще, натурализм сотворил, взрастил интересную публику, которая утратила ощущение реальности. Парадокс? Не думаю. Условность заставляет думать, подключаться всему организму, вламываться в действие. Натурализм выдает копию. Я не собирался заниматься ботаникой.

Репетиция — любовь моя, — сказал Анатолий Эфрос. Я это усвоил. И начал свою репетицию еще задолго до появления сценария, музыки, декораций, самого спектакля. Еще в школе, пожалуй. Мне был любопытен Есенин. Не его рябиновые кисти, хотя и они тоже, но поэт, с его отношением к миру. С его пониманием мира. Я пытался уловить нерв.

Всё это до определенного времени во мне жило и копилось. По роду профессии я много стихов знаю наизусть. И в один прекрасный момент я просмотрел Есенинские стихи у себя в памяти и понял — это спектакль. Спектакль о поэте, которого я вижу несколько иначе, чем остальные. Наверное. Образ создавался по частям.

Есенин мне представляется перегорающей лампочкой. Вот она мерцает, а вот разгорается ярче, из последних сил. И в этом задача моего Есенина. Он уже, как и перегорающая лампочка, не видит кружащих мотыльков, не видит людей, находящихся под его светом. Он знает только одно — надо выдать максимум света. И выдает его.

Движений Есенина я не видел, но голос слышал и начал отталкиваться от его речи, начал проникать в этот прорвавшийся голос. Начал понимать его сквозь стихи, которые, на мой взгляд, актуальны до сих пор. Они живые. Они болят. Они звучат так, как будто написаны сегодня. Вот совсем недавно. Человеком близким и знакомым. Потому что — «Знакомый ваш Сергей Есенин». Человек, который мне знаком и не знаком одновременно. Поэт, которого я заново открываю для себя с каждым спектаклем.

Дмитрий Рубашкин

Школа — второй дом. Дом — вторая школа

Жизнь заставляет человека многое делать добровольно.

Станислав Ежи Лец

— Не могли бы вы — как эксперт — объяснить родителям, в чем суть реформ, которые проводятся в российской школе?

— Наверно, мог бы. Я этой темой занимаюсь много лет.

— Вот и прекрасно! Только очень коротко. Минут на пять-десять, не больше.

— Нет, так коротко у меня не получится.

— А дольше аудитория слушать не захочет.

— Я тогда лучше напишу.

— Что вы, что вы! Это для родителей вообще не вариант. На смартфоне экран маленький, а на бумаге сейчас никто не читает.

Тут поневоле задумаешься. Слушать никто не захочет, читать никто не будет. Как же тогда быть? Разве им это не интересно? Ведь сегодняшняя школа — это то будущее, которое мы строим. Нельзя же всерьез считать, что школьные будни детей сами по себе, а родители — где-то в стороне. Но даже если многие и были так настроены, теперь придется посмотреть на школьную жизнь с других позиций. Предыдущий учебный год закончился, но никто еще не знает, как будет развиваться ситуация, связанная с пандемией¹. Большинство пока не верит, что дистанционное обучение — это надолго. Весенний кризис был случаен и больше не повторится. Может и так, но никто не даст гарантий. И если все же карантин вернется, школе придется признать, что без помощи семьи ей не справиться...

Похоже, родителям пора побеспокоиться. И потратить на изучение вопроса не пять минут, а побольше. Или даже почитать что-нибудь по теме, осмыслить, что собой представляло дистанционное обучение весной этого года...

Рубашкин Дмитрий Давидович — директор инновационного центра «Технологии современного образования», кандидат технических наук, специалист в области проектирования информационно-управляющих систем. С 1992 года занимается инновационными проектами в сфере образования и культуры. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 11.

¹ Статья написана в июле 2020 года.

Анатолий Цирульников

Образование на краю Ойкумены

Беседу ведет Антон Зверев

Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор Анатолий Цирульников — личность почти легендарная. Известный ученый и писатель, путешественник, первооткрыватель не(о)познанных педагогических недр страны. Поговаривают, есть у Цирульникова где-то среди заповедных красот Колымы даже собственное озеро...

Антон Зверев: Правду ли говорят, Анатолий Маркович?

Анатолий Цирульников: Только само озеро об этом не знает... Мы тогда в экспедиции проехали две тысячи километров на «уазике» и пятьсот на «буране» по средней Колыме. Там этих озер видимо-невидимо. С интересными названиями, но есть и безымянные. Собрался сход нескольких деревень, взяли да назвали одно из них Озером академика Цирульникова.

В сертификате запись: «Находится в шестидесяти километрах в северном направлении от села Алеко-Кюель с водоемом двадцать и семь десятых гектаров». Как ни странно, я его заметил, когда проезжали. Запоминающееся такое. На фоне заснеженных сопок.

Нанесли на карту, особый знак поставили, избушку для охотника. Честно предупредили: «Фамилия ваша, скорее всего, из местного языка сотрется из-за тяжелой транскрипции». Но и «Озеро академика» тоже неплохо, правда?

Добраться можно только на вертолете или на снегоходе. Но и хорошо: никто озеру не мешает. Оно ведь понятия не имеет, как люди его называли, живет своей жизнью.

Когда вместо дорог — направления

А.З.: Какими ветрами вас занесло в такие экзотические дали? Как тут не вспомнить «Бриллиантовую руку»: «Приезжайте к нам на Колыму!» — «Нет, уж лучше вы к нам».

А.Ц.: В том-то и дело, что лучше бы *нам* устремиться к *ним*. Для советского человека сердце страны — не Колыма, конечно. Но для меня оно именно там. Несмотря на то что население жмет к Москве, окруженной редкими лесами и дымящимися болотами.

Но и сердце, и смысл России — в тех краях. В книжках серии «Неопознанная педагогика» я и пытаюсь понять другие смыслы — нашей страны, нашей жизни, нашего всего. В том числе Колымы, название которой у соотечественника неотвязно ассоциируется с прилепившимися к ней словами: «лагерь», «уголовщина». А еще

Владимир Смирнов

Воспитание будущего

Каждому по потребности

Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо.

Л.Н.Толстой. Дневник. 29 декабря 1900 г.

Мы привычно отделяем наши способности от потребностей, хотя они частенько сходятся в нашей душе и не желают расходиться.

Например, я обнаружил в себе способности к стихосложению. Написал несколько ловких строк, испытал счастливое волнение, а потом еще и получил поддержку, похвалу специалиста. Много ли надо, чтобы почувствовать себя поэтом, начать изводить бумагу и время, и уже не мыслить себя вне стихотворчества?.. То есть выявленная способность превращается в потребность. Вернее, обзаводится личной потребностью.

Не всякая, заметим. Я знаю, скажем, о своей способности штабелевать в судовом трюме тридцатикилограммовые коробки с мороженой рыбой, мне неоднократно приходилось проявлять эту способность, но потребность к ней так и не пришла. Потребности возникают возле наших *любимых* способностей, творческих. Их перечень необозрим: это и научное, и предпринимательское, и техническое творчество, и воспитательское, этическое, и свободный труд земледельца, приносящий красоту и пользу. Любая деятельность, дающая возможность человеку ощутить себя создателем, родителем имеет свойство наполняться движущей силой потребности.

Можно выразиться так: творческая способность — Она — образует чувственную пару с творческим порывом — с Ним — и далее они развиваются только во взаимодействии, в сюжете, в романе, где хватает и размовок, и страданий, и ревности, но обязательно появятся и дети, рожденные в любви, и опредмеченный смысл существования. Попробуй, отщепи от художнической способности потребность творить, и, если нам это удастся, мы потеряем художника. Способность — инструмент творца, а потребность — мотор, производящая воля. Что они друг без друга?!

Исключительно важно и то, что образовавшаяся пара «способность — потребность», начав свое чувственное развитие, занимает всё большее место в душе человека, оттесняя на задний план потребности нетворческого порядка. Они не исчезают, разумеется, но постепенно узнают свое не более чем подчиненное место,

«В тех местах тогда не было Бога...»

*О романе Леонида Тишкова «Взгляни на дом свой» размышляют
Ольга Бугославская и Наталья Игрунова*

Ольга Бугославская

Умоляю, посмотрите финал...

Роман Леонида Тишкова — еще одно произведение на тему восстановления памяти и осмысления личного опыта, относящегося к советскому времени. Еще одно в очень длинном ряду. Наиболее заметным и резонансным в нем стала семейная история Марии Степановой «Памяти памяти». В текущем году вышли две книги, перекликающиеся с романом Тишкова, — роман Владимира Сотникова «Холочье. Чернобыльская сага» и сборник Анатолия Курчаткина, в который включена повесть «Реквием». У Тишкова главный герой, он же рассказчик, мысленно возвращается в город своего детства на Урале, узнаваемые приметы которого практически исчезли. Тот же мотив исчезновения присутствует в романе Сотникова: автор тоже вспоминает свое детство в селе Холочье, которое в буквальном смысле было уничтожено Чернобыльской катастрофой. Повесть Курчаткина посвящена в том числе воспоминаниям о жизни на Урале в советское время и вспышке онкологических заболеваний, связанных с захоронением под Челябинском радиоактивных отходов. Авария на «Маяке» — один из эпизодов романа Леонида Тишкова.

Роман Тишкова устроен интересно и сложно. Повествование ведется то от первого лица, то от третьего и переключается со стилизованного сказания на сюр и фантастику, с фантастики на мемуары... В романном мире живые люди, будь то целый народ или отдельный ребенок, взаимодействуют прежде всего не с себе подобными, а со стихиями и предметами — горами, снегом, окнами, ковриками, фотографиями... Самое первое такое соприкосновение, в рамках творимого писателем мифа, оказывается болезненным и порождает в людях ужас: «Эти сидящие вокруг меня люди зовутся уральцами, есть такая нация в России, и никак ее не спутаешь с какой-нибудь другой... Когда-то до своего поселения на Урале, они были русскими людьми... но когда притащили тела их на Камень, положили на мох под скалами реки Чусовой или реки Серги, они открыли глаза и вдруг испугались нависших над ними темно-зеленых еловых лап, ощутили жгучий холод серых камней, услышали недовольный ропот

Леонид Тишков. ВЗГЛЯНИ НА ДОМ СВОЙ



Что так тянет меня сюда, в мой, собственно, дикий малолюдный край, где зима длинная, как Казанская железная дорога, а лето коротко, как жизнь воробья. Сирое место, убогое, втиснутое в узкую долину извилистой реки, перегороженную плотиной, возведённой для нужд чугунолитейного производства. Сам посёлок вырос вокруг завода, как полип вокруг камня, отовсюду видна высокая кирпичная труба, иногда изрыгающая «лисий хвост», иногда чёрный дым. На эту трубу, как на штырь, насажен посёлок, мой родной городок, где я родился и вырос.

Кадр из видео «Снежный ангел». 1998



Нижние Серги, вид с Больничной горы



Фотографии из семейного альбома проявлены мной на батисте, лёгкой ткани, которую очень любила моя мать, в её шкафу когда-то висели два ярких платья из этой материи. Я взял ножницы и приступил к работе: мои родные, я сам, кто-то, кого я не помню или абыл, стали исчезать, разрезанные, разорванные, разделенные на ленты, чтобы потом свернуться в клубки. Вот висят под потолком все мои уральцы, вниз спускаются дорожки, нити, связующие их с землёй, на ней лежат клубки, из которых будут вязаться будущие коврики, вяжутся коврики. Так начинается бесконечная работа, простой домашний труд, чтобы в нашем доме не зябли босые ножки детей.

Инсталляция «Клубки памяти». Выставка «Взгляни на дом свой». Арсенал, Н.Новгород. 2017

Наталья Игрунова

След ушедшего дома

«Я — рассказчик», — говорит о себе Леонид Тишков. Вот и свой роман он начинает не писать, а рассказывать, словно размышляя вслух:

«Что так тянет меня сюда, в мой, собственно, дикий малолюдный край, где зима длинная, как Казанская железная дорога, а лето коротко, как жизнь воробья? Сирое место, убогое, втиснутое в узкую долину извилистой реки, перегороженную плотиной, возведенной для нужд чугунолитейного производства. Сам поселок вырос вокруг завода, как полип вокруг камня, отовсюду видна высокая кирпичная труба, иногда изрыгающая «лисий хвост», иногда черный дым. На эту трубу, как на штырь, насажен поселок, мой родной городок, где я родился и вырос.

Зачем я еду в этом холодном скрипучем поезде? Увидеть родной дом? Но один, первый, уже сгнил и сломан, второй еле виден из-за сугробов, синяя краешком наличника, третий еще стоит, крепкий, как гриб боровик, обляпанный темно-серым цементом, куски которого отваливаются, как старая короста с кожи больного, оголяя кирпичи. В нем давно живут незнакомые мне люди, даже деревья, растущие рядом с ним, не узнают меня...»

Вопросы, на которые он будет пытаться ответить на пространстве двух сотен страниц этой книги.

Поездка — одна из — выпадает на февраль. Сутки на фирменном поезде «Урал» (дорогом, как говорила ему мать, не чета проходящим), купейный вагон, влажное, пахнущее хлоркой белье, светлые шторы с красной рябинкой, убегающий за окном уныло однообразный придорожный пейзаж. Пересадка на местный. Зажатый в руке билет, закомпостированный пахнущей углем и машинным маслом женщиной-контролером. Коричневая картонка с аккуратно пробитыми дырочками — билет до детства, пропуск домой.

История возвращения рождается из тьмы, безмолвия и страха: черный от мазута паровоз, «темные» люди-уральцы — хмурые попутчики-пассажиры на до блеска отполированных задами деревянных лавках, ранние зимние сумерки, низкие горы, жгучий холод серых камней, темно-зеленые лапы елей, неизживаемый страх тайги и обитающих в чаще духов, запорошенный паровозной сажей снег...

В детстве тоже становилось темно и тихо, когда наступала зима и день и ночь, не переставая, падал снег. «Образ снега — самая сильная “вспышка” в памяти». Но снег детства — дружелюбный, он словно бы приподнимал все вокруг — дома, деревья, собак, он пел под ногами восторженно и нежно, «вознося прохожих на небольшую, но все же высоту». Тот «всеобъемлющий» снег и был — детство, «иначе говоря — счастье».

Так будет и дальше — мир отразится в глазах ребенка и взрослого: мальчика Леонтия из заводского уральского городка, живущего вместе с родителями и двумя старшими братьями в доме рядом с опушкой леса, и московского художника, после школы уехавшего из родного дома, отучившегося на врача, сменившего профессию,

Ольга Балла

Сны месяца тишрея

Керен КЛИМОВСКИ. Время говорить: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — 445, [3] с. — (Роман поколения).

Роман русской израильтянки (такое обозначение координат автора условно и неточно чуть ли не до огрубления, но пусть пока, простоты ради, будет так) Керен Климовски, с одной стороны, — хроника общечеловеческого процесса взросления: личностного и социального становления девочки с двенадцати до шестнадцати лет, преодоления очень типичных, узнаваемых трудностей на этом пути. Четыре года — четыре главы, а части притом две, и если три первые главы теснятся в одной части, то последняя — «Время говорить», давшая название всему роману, целиком занимает вторую часть — все двести страниц. Хочется предположить, что это неспроста, потому что главная тема всего повествования — дорастание человека до речи, до позиции полноценного субъекта речи. Автор доводит героиню, начавшую на шестнадцатом году пристально и сложно осмысливать себя в форме писем к безнадежно любимому человеку, до порога юности — и оставляет ее на нем, не разрешившую, в общем-то, ни одного из волнующих ее вопросов (кроме самого главного — о чем ниже), в состоянии сплошной открытой возможности. По существу, это роман, у которого нет финала — а есть остановка на пороге. Но направленное развитие есть точно.

С другой стороны, эта история увидена и осмыслена с позиции довольно нетривиальной в культурном отношении: героиня романа Мишель, она же, по домашнему имени, Мишка, растет в семье «русских» израильтян и таким образом — в постоянном, изначальном взаимоналожении культурных матриц. Надо, правда, признать, что израильские матрицы в случае «сабры» Мишель решительно сильнее; от всего русского тут осталась разве что фамильная память, дальнее эхо, в глазах самой повествовательницы не лишенное странности и чуждости. Мишели еще предстоит во всем этом символическом наследстве разбираться; стремясь лучше понять своего отца, она начнет читать — правда, в ивритском переводе — прежде малоинтересного ей Достоевского и потихоньку до него дорастать, но для нее это будет именно освоением чужого.

«Вот мои родители, например. Казалось бы, уже больше двадцати лет в стране и приехали сюда детьми, а все еще тоскуют по русской осени — с дождями, грибами, опавшими листьями. Причем папа заиклен на грибах. У нас зимой тоже растут грибы — папины друзья собирают. Но папу это не устраивает. Не то, говорит, не те грибы, другие, не такие: где запах детства, запах России, запах русской литературы? Хочется сказать: в твоей университетской библиотеке! Там и сыро, и гнилью пахнет».

Борис Минаев

Театр Саши

В «Школе современной пьесы» был когда-то такой спектакль: «По поводу обещанного масла» — стихи о королевском бутерброде с музыкой Сергея Никитина. Небольшая яркая буффонада, актеры пели, гримасничали, паясничали, все было весело и ярко — но главной особенностью спектакля был, конечно, торжественный вынос самих бутербродов с маслом. Они лежали на подносе, аккуратно нарезанные, намазанные и готовые к употреблению. Конечно, в полном зале доставались бутерброды далеко не всем зрителям. Такой материальной возможности, я думаю, у театра и не было. Лишь несколько средних рядов были одарены этой чудесной «материализацией искусства» — дети бросались на них, как подорванные, и пожирали с восторгом. Я, честно говоря, боялся, что в зале возникнет потасовка и что моим Мите и Саше ничего не достанется, увы, — но нам сильно повезло: и сидели мы в правильном ряду, и дети все-таки были интеллигентные, бутерброды не отобрали...

Шли прекрасные и даже местами счастливые 90-е годы.

Еще помню, в Москве стоял нереальный мороз. Под сорок градусов. А у меня как раз были билеты на «Барышню-крестьянку», в театр Ермоловой. В главной роли тогда выступала Кристина Орбакайте (это была ее дипломная работа). Решил взять сына. Ну что делать, надели по две пары штанов, майку под рубашку, рубашку под свитер, и пошли. В зале было, мягко говоря, прохладно, пальцы на руках немного мерзли, на них иногда приходилось дышать. Актёров-то грел внутренний огонь, мы же постепенно надышали тепло все вместе, малый зал, слава богу.

И все получилось хорошо — и у Пушкина, и у Орбакайте, и у нас. Это была очень изящная, органичная работа актрисы, честное слово, жаль, что потом у Кристины с театром как-то не сложилось. Но было в этом морозе что-то русское и классическое, он придавал происходящему какую-то особую реальность, что ли.

Или вот еще воспоминание: «Золотой петушок» в московском ТЮЗе — там дело происходит на лестнице, потом в фойе, детям сидеть надо на подушках, кому-то понравилось, а мои страшно извернулись, потому что им было неудобно. А в целом спектакль Камы Гинкаса был, как всегда, ироничен, ярок, наполнен смыслами...

Текст, режиссура, интонация.

Но, увы, запоминается в детских спектаклях часто совсем другое. Ведь, как правило, зрители здесь — новички. Как воспринимать это искусство, они еще не знают. Театр надвигается на ребенка всегда какой-то неожиданной стороной — запахом, ярким светом, странными криками, неожиданной вещественностью, ощущением опасного и искривленного пространства, страхом и удивлением, неудобством и иногда даже какой-то травмой.

И это нормально, между прочим.

Я очень хотел, чтобы театр моим детям именно запомнился, оцарапал, вошел в сознание с непреложностью факта, а не просто «понравился». И я ждал события, которое могло бы мне в этом помочь.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ



И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**12/2020****Читайте:****Андрей Иванов. Роман «Театр ужасов»:**

«Так, вслепую, я шагал навстречу моему убийце, а он палил по мне из ружья. И вдруг я получил удар прямо над головой, и секунду спустя раздался оглушительный хлопок, меня встряхнуло. Упал на колени. Возможно, я даже потерял сознание. Я перестал слышать свои мысли и чувствовать себя. В ушах звенело. Хлопок, встряска, удар, звёзды в глазах — всё было одновременно. В спине что-то рвануло, по позвоночнику пробежала вибрация: это был механизм, выталкивающий из баллончика “кровь”. Я стоял на коленях и задыхался. Мне хотелось наружу. Я слышал вопли. Дружеские руки на моей спине, на плечах. Меня подняли. Меня обняли. Я был чумной, хотелось, чтоб они как можно скорей меня рассупонили...»

Макс Фрай. Рассказ «Испагань не для всех»:

«...Теоретически я понимаю, что на самом деле живу, а не снюсь, просто чувствую себя очень странно спросонок, здесь почему-то темно и зима, и колокольный звон, гудят паровозы, и ветер, такой сильный ветер, как бывает только у моря, он дует: “Пошла игра”, — всё наконец-то сходится, — с облегчением думаю я, просыпаюсь, и падаю, как волна, и спрашиваю, не ожидая ответа, просто так, потому что успеть спросить красиво: “Где твой серп?”»